

ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК

Библиотечка газеты

Залман Кауфман

ЗЯМА

ПЕТРОЗАВОДСК 2005

УДК 94 (47-57)
ББК 63.3 (2) 6.14
К 30

Еврейская община Петрозаводска
выражает благодарность

ФЕЛИКСУ БУХМАНУ (Израиль)

за помощь в издании брошюры

קהילת יהודית בפטרוזבודסק מודה

לפליקס בוכמן (ישראל)

על העזרה ביציאת
לאור את החוברת הזאת

Кауфман, Залман

Зяма /Залман Кауфман; Еврейская религиозная община. – Петрозаводск: Принт,
2005. – 64 с. - (Библиотечка газеты «Общинный вестник»; вып. 9)

К 30

УДК 94 (47-57)
ББК 63.3 (2) 6.14

ISBN 5-9000726-16-9

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

А.С. Пушкин

Смертельно ранящая, только тронь,
Воспоминаний взрывчатая зона...
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
И все же, невзирая на огонь,
Без жалости к себе, без снисхожденья
Иду по этим минным загражденьям...

Вера Инбер
Пулковский меридиан

ЗЯМА

*Ревекке,
моей многотерпеливой жене.*

Зяма – это я, ученик восьмой украинской образцовой школы. Когда подошли школьные годы, меня отдали в еврейскую школу. Такие были в местах компактного проживания евреев. Проучился год, научился читать и писать, но родители, боясь, что в связи с повальной украинизацией, имевшей место в те годы, мне придется переучиваться, перевели в украинскую, которую я и закончил.

Как и большинство сверстников, учился так себе, ни шатко, ни валко. Отметки были всех калибров, но очень любил книгу. Читал запоем, в школе – из-под парты, дома – за едой. Однажды, зачитавшись, не заметил, как домашние мне дважды сменили еду. Читать научился рано, лет в пять, по-украински и по-русски, чуть позже и по-еврейски. Дедушка Рафаил, хотя и был простым слесарем, знал несколько языков. Он предпринимал героические усилия, чтобы приобщить меня к ивриту, но тщетно: религия – опиум народа. Это в школе я слышал ежедневно. А иврит ассоциировался с религией. Как я теперь жалею!

Моя любовь к чтению отмечалась победами на разных конкурсах, в том числе и всесоюзных. Видя это, дедушка с меньшей тревогой отнесся к моему будущему: «Если любит книгу, босяком не будет».

Из всех школьных предметов меньше других любил математику, если здесь вообще уместно слово «любил». Она была для меня тяжким испытанием. Двойки встречались значительно чаще троек, а о четверках мог только мечтать, были и переэкзаменовки. Наша учительница математики на ниве просвещения была человеком случайным. Бесцветная, малообразованная. Перед ней всегда лежала открытая тетрадь с решениями всех наших задач. Сильно подозреваю, что они были кем-то решены. С трудом отсиживая урок, мчалась домой, как мы предполагали, к своему жениху. И действительно, вскоре сменила фамилию и удивительно быстро ушла в декрет. Это меня спасло. Вместо нее преподавать стал доцент пединститута по фамилии Севбо. Педагог, как говорят, от бога. Он не только великолепно излагал предмет, но знал его историю, массу всяких занимательных событий, связанных с математикой и математиками. Его уроки были интересны, доступны, увлекательны. Я заболел математикой. Передо мной раскрылся совершенно новый мир. Мир мнимых единиц, иррациональных чисел, бесконечно больших и малых величин, абстрактного мышления. Уроки пролетали незаметно, и я с нетерпением ждал следующих. К тому же по физике проходили механику, где эти элементы также присутствовали. Захватила и механика. Я навалился на популярную литературу. Конечно, прочел всего Перельмана, познакомился с теориями относительности и вероятности, начал подбираться к высшей математике. Задачи, которые прежде мне доставляли лишь муки, стали доступными и даже интересными. Во всяком случае, при поступлении в университет, а конкурс был шесть человек на место, письменную по математике сдал в числе первых. Одну из задач помню даже сейчас – дано: $\lg 2$ и $\lg 3$. Найти $\lg 75$. Задача, в общем-то, простая, но ее почему-то многие не смогли одолеть.

И, тем не менее, с точными науками у меня был лишь флирт, одно из моих многочисленных увлечений. Настоящая любовь была только к биологии. Природу, живое во всех его проявлениях любил до самозабвения. Конечно, прочел все по естествознанию, что мог достать в нашем городе. Хорошо знал содержание всех учебников по природоведению, вплоть до десятого класса, хотя сам был лишь в пятом. Учитель биологии, зная мою страсть, ее всячески поддерживал, приносил различные книги, иногда приглашал к себе домой. Отвечать уроки вызывал редко, отметку ставил так, не спрашивая. Однажды предложил провести беседу в 10 классе. Там из-за кафедры меня не

было видно, и беседу проводил стоя на стуле. Видимо, она прошла успешно. Была редкая для урока тишина. После звонка учитель меня поцеловал в голову. Позже, когда разразилась война, и в город пришли немцы, мой учитель биологии стал полицаем и участвовал в расстрелах своих еврейских учеников. Уверен, не пощадил бы и меня. Его звали Василь Евдокимович Бойко.

Первая моя статья была опубликована в журнале «Юный натуралист», когда я был учеником 6 класса. Как это ни странно, но она была замечена. На нее появилась рецензия крупнейшего в то время эколога, прекрасного писателя-натуралиста и удивительного художника-анималиста профессора Московского университета Александра Николаевича Формозова. Кроме рецензии профессор мне прислал и письмо. Так у нас завязалась переписка, продолжавшаяся вплоть до моего ухода на войну.

Школьное увлечение точными науками неожиданно сказалось позже, когда я уже был студентом биофака. После сдачи экзамена по физике меня пригласили в деканат, где профессор-физик предложил перейти на физфак. Старейшему академику Теренину нужен был ученик, желательнее мужчины, чтобы продолжить его идеи, и глаз профессора почему-то пал на меня. Конечно, предложение было не только лестным, но и ответственным, и профессор меня не торопил. Когда мы снова встретились, я просил передать академику не только большую благодарность за предложение, но и просьбу понять мой отказ – лишение заниматься биологией сделало бы мою жизнь существованием.

Вспоминая школьные годы, не могу не упомянуть моего друга детства – Лазаря Юдовича. Редкой одаренности юноша, художник и искусствовед. Учителей поражал недетскими суждениями о тех или иных литературных произведениях. Удивлял и объем знаний по истории искусства. Он знал содержание разных художественных стилей, искусство разных эпох и народов, творчество отдельных художников. Его родители польские евреи, портные. Увлечение левыми идеями привело их в СССР, в Чернигов, где отец Лазаря Берл работал директором местной швейной фабрики. Русского языка он так и не осилил. Выступая на различных собраниях, начинал по-русски, но быстро уставал, измучивал себя и других и, махнув рукой, с облегчением переходил на родной идиш. При обращении его звали «реб Берл». Во времена «большого террора» его тоже взяли, но, как это ни странно, года через два выпустили. Все это время их семья ужасно бедствовала, и мы им помогали, чем могли.

Лазарь, как и можно было ожидать, поступил в Академию художеств на искусствоведческий факультет, где быстро себя проявил и даже получал какую-то престижную стипендию. Во время войны ушел на фронт, был ранен, ушел вторично и не вернулся. В вестибюле Академии на мемориальной доске среди фамилий погибших на войне сотрудников и студентов, значится и Юдович Лейзер Беркович (1920-1943). Его мать, узнав о смерти сына, лишилась рассудка. Отец Лазаря позже умер в доме престарелых в Израиле.

Лазарь, несомненно, был очень талантлив, но не вундеркинд. Вундеркиндом был Гриша Золотарев, сын моей конотопской кузины. У него очень рано прорезался мощный математический талант. Еще в школе он заочно закончил первый курс механико-математического факультета. В отсутствие учительницы математики заменял ее. О его таланте писала пресса. В университет он поступил сразу на второй курс. Закончил с кандидатской степенью. Необычайно быстро защитил докторскую, но полностью его талант так и не успел расцвести, помешал инфаркт.

Сдав тринадцать труднейших вступительных экзаменов, я был зачислен на биофак Ленинградского университета – лучшего в то время в СССР. Радости моей не было предела. Но, проучившись всего неделю, был призван в армию – началась финская война. Нас, новобранцев, обмундировали в валенки, теплые фуфайки, выдали белые маскхалаты и оружие. Мне достался ручной пулемет с двумя дисками патронов, но я так и не только не стрелял, но и не узнал, как стреляют. Отправили на Карельский перешеек. Мы залегли

в глубоком снегу холодного мрачного леса. Где-то стреляли, иногда ночное небо на мгновение вспыхивало от разрывов снарядов. Царила жуткая неизвестность. Утром мы должны были выдвинуться на передний край и пойти в наступление. Ко мне подошел командир взвода и показал как заправлять в пулемет диски и как стрелять. Но стрелять так и не пришлось. Назавтра война прекратилась, был заключен мир с финнами. Это было 12 марта 1940 года. Дату я хорошо запомнил. С новой силой потянуло в университет, но вместо этого попал в Москву, в Первую Московскую Пролетарскую дивизию – самое элитное соединение того времени.

Через какое-то время меня, как более развитого и грамотного, назначили проверять документы у посетителей командующего округом маршала Семена Михайловича Буденного. Понятно, что уже через некоторое время маршал и другие высокие начальники, кабинеты которых расположены рядом, меня знали и даже здоровались. Однажды, когда нам вместо шлемов-буденовок выдали шапки-ушанки, Буденный спросил:

- Что лучше – буденовка или ушанка?
- Конечно ушанка.
- Почему? - настаивал маршал.
- Если командование решило нас одеть в ушанки, значит они лучше.

Буденный усмехнулся:

- Ну, хитрец! Ты кто? Как тебя зовут?
- Рядовой Залман Кауфман, товарищ Маршал Советского Союза.
- А-а... - пожевал мое имя Буденный и скрылся в кабинете.

Караульной рота была недолго, вскоре нас возвратили к каждодневной муштре: отработке строевого шага, поворотов, приветствий, бегу, ползанию по-пластунски, штыковому бою, отражению кавалерийских атак и другому. Всему этому ненужному нас тренировали в то время, когда немецкая армия усиленно моторизировалась, оснащаясь танками и самолетами, боевые качества которых во многом превосходили наши

Первого мая 1941 года торжественный военный парад на Красной площади. Мы к нему готовились весь апрель, с утра и до вечера отработывали строевой шаг. Перед парадом нам вместо стандартных гимнастеров выдали новенькие мундиры, к сапогам приколотили подковки, чтобы четче печатался шаг. Парад проходили «коробками» 8x24 человека с винтовками со штыками наперевес. На Мавзолее стояло все правительство, но Сталина я так и не разглядел – мешало солнце, да надо было следить за равнением.

2 мая, как обычно, выходной, но, несмотря на это, после обеда весь полк был поднят по тревоге, погружен в товарные вагоны и отправлен в Западную Белоруссию – часть Польши, недавно присоединенную к Советскому Союзу. По дороге меня ссадили в небольшой городок Пуховичи, где располагалась парашютно-десантная дивизия. Будучи молодым и глупым, я этому очень обрадовался. Шутка ли – десантник, голубые петлицы с птичками, значок парашютиста, особое внимание девушек... Но медкомиссия пыл несколько охладила: ей почему-то не очень понравился мой вестибулярный аппарат. Я был сильно огорчен и пошел на комиссию вторично, но значок парашютиста и голубые петлицы с птичками носить было не суждено. Видя мое рвение, один из старослужащих повел меня в роту, расположенную за военным городком. Это оказалось большое кладбище. «Смотри, - сказал он, - здесь лежат те, которым прыгать разрешили». Он покрутил пальцем у виска: «Богу молись, что у тебя такие уши!» В те годы парашюты и методика прыжка были очень примитивными, и кладбища возле парашютно-десантных частей быстро разрастались. Во время войны дивизию забросили к немцам, и вся она погибла.

Меня, несостоявшегося десантника, оправили дальше на запад за город Гродно, на самую советско-германскую границу, в бригаду противотанковых пушек. Поразительно, но это так: бригада, стоящая на границе, была совершенно не вооружена. На батарее было всего несколько дореволюционных винтовок, а у офицеров – по пистолету и всего по две

обоймы патронов. Пушки без панорам, на пушку по шесть снарядов, всего несколько автомашин. За два дня до войны пригнали новобранцев. Все они из Средней Азии, одеты в халаты, подпоясанные платками, по-русски почти не понимали. И все это – на границе в ожидание войны.

Наша батарея расположилась в палатках на берегу небольшой речушки. В нескольких километрах от нас была пограничная застава и дзоты, на которые в случае войны, почему-то, возлагали большие надежды. За два дня до ее начала на небольшой высоте границу пересекли несколько десятков немецких самолетов. Впервые я увидел на крыльях кресты. Но все обошлось мирно: они не стреляли, по ним не стреляли. Более того, тотчас после этого происшествия последовало правительственное опровержение сообщений западной прессы, комментировавшей это событие. Мол, что этого не было, и нас пытаются поссорить с дружественной Германией. Впервые мне, комсомольцу, воспитанному на безгрешности, мудрости и честности партии и правительства, пришлось столкнуться с государственной ложью – самолеты с крестами пролетали над моей головой туда и обратно, и я их хорошо видел. Но командование этого «дружественного» государства думало иначе. Без лишнего шума они выбросили в нашей приграничной полосе десанты, которые с началом войны всеми возможными средствами – поджогами, беспорядочной стрельбой, убийствами должны были вызвать панику, суматоху, неконтролируемую обстановку, что должно было способствовать более быстрому продвижению немецких войск, и этого во многих случаях они добились.

В ночь на 22 июня 1941 года на батарее из комсостава остался я один. Это была ночь на воскресенье, и все командование батареи ушло смотреть фильм в ближайшую деревню, оставив меня главным начальником. Ночь была прохладной, от реки тянуло сыростью. Я укрылся потеплее и уснул. Мне снилось, будто по улице идет эскадрон лошадей, громко цокая подковами по брусчатке. Но сон досмотреть не удалось, его прервал часовой, настоятельно трясший меня за плечо. Выйдя из палатки, я обомлел. Цоканье продолжалось, но это уже были разрывы бомб, сброшенных на местечко Мосты, на Гродно и на небольшой полустанок, что был возле нас. Все они горели. Огромное облако черного дыма затянуло горизонт. Война!!! Что делать? Советоваться не с кем. Первое – всех поднял, убрал демаскирующие белые палатки. Стрелять? По кому? Куда? Чем? На батарее всего несколько снарядов. Остальные на складах, километров за шестьдесят, и их уже разбомбили. Да и стрелять-то никто не умел, новобранцев даже не успели переодеть в военную форму. Кое-кто из комсостава прибежал из деревни. Из штаба никаких указаний. К тому же двух своих товарищей оставили в деревне – их застрелили поляки. Это были первые жертвы в нашей батарее. Немцы, готовясь к наступлению, обрушили на нас шквальный артиллеристский огонь. Вокруг рвались снаряды. Дым, огонь, пыль, песок забивали горло, глаза, отчаянные крики раненных. Страшно! Очень! Я лежал в воронке, зарыв лицо в землю, звал и молил: «Мамочка, дорогая, спаси меня!!!» Огонь постепенно утих, и пошли танки, стреляя и утюжа, но позже они свернули в сторону, окружая нас. Из командования батареи осталось трое: лейтенант, старшина батареи и я. Какое сопротивление мы могли оказать. Надо отступить, но куда, как? Карт не было, местности никто не знал. Целыми остались лишь две автомашины, к ним прицепили по пушке – и на восток. Они уехали, а меня оставили подрывать оставшиеся пушки. Насыпав песок в ствол и, спрятавшись в щель, несколько пушек подорвал. Но один в поле не воин, поймав пробегающую бесхозную лошадь, вскочил на нее и подался в поисках наших. Ехал лесными тропинками, избегая дорог, по которым уже во всю разъезжали немецкие танки и мотоциклы. Вокруг что-то взрывалось, что-то горело, где-то стреляли, небо прошивали трассирующие пули, которых мы еще не видели, кто-то истошно кричал. Жутко! Так проехал сутки. Лошадь и я выбились из сил, дико устали. На следующее утро тропинка вывела на большую поляну с людьми. Подкравшись, увидел, что это были наши, не только наши в смысле советские, но наша батарея. Какое счастье! Они уже собирались двинуться дальше, и я еле успел забраться в

кузов, оставив лошадь прямо на дороге. Попытались найти какую-нибудь воинскую часть, чтобы к ней прибиться, но такой не попадалось. По дорогам ехали, брели, голодные измученные люди, военные и гражданские. Куда? Зачем? Ответа никто не знал. Проехали Гродно. Страшное зрелище. Разбомбленный родильный дом, несчастные роженицы металась как в горячке. Родившие не знали, где их дети, а те, которым еще предстояло рожать, лежали на земле. На дороге и по обочинам валялись мертвые люди и лошади со вздутыми на летнем солнце животами. Никто их не убирал, да их просто не замечали. А немецкие самолеты бесконечной дьявольской вереницей на брющем в упор расстреливали эту несчастную человеческую массу. Мое юношеское сознание с трудом воспринимало весь этот кошмар. Наш лейтенант не выдержал, сошел с ума. Нас осталось 26 человек из одиннадцатитысячной 6-й артбригады. Большинство попало в плен, а остальных раздавили танки.

В польских деревнях к нам не скрывали ненависти, стреляли в спину. Единственная надежда – это еврейские местечки, тогда еще густо разбросанные по западным областям Белоруссии и Украины. Здесь к нам относились крайне дружелюбно, охотно давали воду, еду. Узнав, что среди русских солдат есть еврей, сбегалось все местечко. Меня принимали как самого почетного гостя. Я впервые видел детей, которые не знали другого языка, кроме еврейского. Они облепляли меня со всех сторон, забирались на руки. Несчастные, они не знали, что их ждет.

Мы быстро поняли, что в наших условиях главное – это горючее. Надо было что-то предпринимать. В небольшом городке Новогрудке, находящемся не очень далеко, была расположена танковая часть, значить там мог быть и бензин. Направились туда. Бензохранилище охранялось. С охраной договориться не удалось. На все наши просьбы отвечали категорическим: «Нет!» Пришлось действовать решительно: развернув пушку, бабахнули поверх голов. Это подействовало. Вся доблестная рать, разбежалась, и мы быстро вкатили в кузов бочку бензина. На нем ехали, его и ели, меняя на продукты.

Недалеко от города Лиды, на поле приземлился немецкий самолет, что-то в нем отказало. На предложение его захватить, толпа отступающих, перепуганных бесконечными бомбежками и обстрелами, даже мысли такой не допускала, боясь мщения. Тем не менее, наведя на самолет канал ствола, мы выстрелили. От самолета в разные стороны полетели ошметки. Нас едва не растерзали.

Возле станции Лесная, что около города Барановичи, немцы высадили десант. Группа наших военных решила его уничтожить. Увидев у нас две пушки, они где-то достали немного снарядов. Мы открыли огонь. Потом туда двинулись пехотинцы. Как это ни странно, но станцию захватили, правда, ненадолго, а мы, оставшись без снарядов, подались дальше на восток.

Проехав Белоруссию, подошли к Смоленску. Где-то было решено защищать город. Собрали отступающие войска. Нас разместили в районе Цыганского колхоза, что возле города. Пушки установили на высотках по обе стороны дороги Витебск – Смоленск. Из нас образовали взвод, дали командира, младшего лейтенанта по фамилии Зима, неумного и дремучего парня из глухой сибирской деревушки, но болезненно амбициозного. Лейтенантский кубик в петлице и кобура с наганом вовсе вскружили ему голову: «Вишь, партия и правительство поручило Зиме оборону Смоленска, и Зима оправдывает это высокое доверие, а ты, вишь, грамотный, а сержант, да еще младший».

По дороге тянулись толпы отступающих, иногда проносились танки или танкетки. Какие из них наши, какие – немецкие младший лейтенант, конечно, не знал, но пальнуть хотел. И он принял решение: мне было приказано спуститься по дороге вниз и проверять документы у отступающих танкистов. Если окажутся немецкие, дать знать на батарею, и мы откроем по ним огонь из обеих пушек. Винтовок у нас не было, и Зима торжественно вручил мне бутылку с зажигательной смесью: «Брось в немецкий танк и – все». Понять смысла этого идиотского приказа я не смог. Какой немецкий танкист станет предъявлять документы? Меня просто раздавят.

- Вот и хорошо, – упивался своей гениальностью Зима, – мы таким образом узнаем, что это танк немецкий и из двух пушек его раздолбаем.

- Но ведь я погибну!

- Ну и что, зато уничтожим танк. Понимаешь, танк!

Видя, что мои глаза не сияют радостью, Зима вытащил из кобуры наган и стал его нервно поглаживать:

- Я не люблю, когда мои приказы обсуждаются – его маленькие, глубоко сидящие глазки стали излучать неприятные искорки.

Конечно, он мог пристрелить, кто его будет судить? Выхода не было, и я взял бутылку. На мое счастье немецких танков не было. Проехали две наши танкетки. На знак остановиться, они в меня выстрелили парой известных русских слов и, не останавливаясь, промчались.

Все чаще немецкие самолеты стали налетать на Смоленск, а артиллерийская канонада, раздававшаяся вдаль, стремительно приближалась. Зловеще шурша, пронеслись над головой снаряды. Уже горел колхоз, над городом поднялись огромные клубы черного дыма. Я забрался в щель, она оказалась кстати. Выглянув, увиделдвигающиеся по ржаному полю темные точки. Это были немцы. Сидение мое в щели, как и все пребывание здесь, абсолютно бессмысленно. Выкатившись в кювет, идущий вдоль дороги, то ползком, то бегом направился к батарее. Когда я, наконец, добрался, ужас охватил меня. Пушка была разворочена снарядом. Одна из наших машин, догорала, вокруг в разных позах лежали ребята, а чуть в стороне и младший лейтенант Зима. Осколком ему снесло половину лица и висок, только на одной сохранившейся петлице блестел новенький лейтенантский кубик. Так бесславно погиб младший лейтенант Зима – надежда партии и правительства. Второй машины и пушки не было. Я подался к Смоленску в надежде найти кого-нибудь из наших, или к кому-нибудь прибиться. Перед городом в группе грязных измученных солдат и нескольких машин я увидел нашу с пушкой. Обрадовался несказанно. Какой-то майор пытался что-то организовать, создать сопротивление, но его никто не слушал. Какое сопротивление могла оказать эта группа измученных безоружных людей. Что мы могли противопоставить огромной плотности огня немецких автоматов, танкам, бомбежкам? Наши несуразные винтовки-трехлинейки, или суворовское «пуля – дура, штык – молодец», так широко пропагандировавшееся в армии, даже упоминавшееся на почтовых открытках. Глупость и малообразованность крупных воинских и правительственных чинов обошлась нам миллионами молодых жизней. Все огромное пространство от Белого до Черного моря было густо усеяно трупами наших солдат. Мы немцев не победили. Мы их утопили в нашей крови.

Поехали через горящий Смоленск к Соловьевской переправе, что на Днепре, позже ставшей известной своей большой кровью. Горящий город представлял страшную апокалиптическую картину, «Последний день Помпеи». Горели не только дома, но и деревья. Валились стены, перекладыны, крыши. Дым, смрад, жара. Еле вырвались к Днепру, но и там не лучше. Скопилось огромное количество отступающих машин, разной техники. Стоило только навести переправу, как немцы тут же ее бомбили. Так было каждый раз. Вокруг убитые, раненные, крики, дикий мат, в воде у берега вспухшие трупы, доски, бревна, какой-то мусор. Перебраться на другую сторону посчастливилось лишь нескольким машинам. Что делать? Зажав в зубах студенческий и комсомольский билеты, я махнул на противоположный берег. Там, сняв с убитого капитана сапоги, побрел по дороге. Каким-то невероятным образом наша машина все же смогла перебраться и, догнав меня, подхватила. Мы, миновав Дорогобуж, двинулись к Вязьме. Вязьма почему-то запомнилась. Провинциальный русский городок, когда-то известный своими пряниками, был совершенно безлюден, мертв. Фронт придвинулся вплотную, его обстреливали и бомбили, и это лишило город населения. Кто – удрал, кто – запрятался. Улицы наполнила тяжелая зловещая тишина, лишь в каком-то дворе одиноко мычала корова. На дороге валялась перевернутая детская коляска, а неподалеку – труп молодой женщины. На

июльском солнце он быстро разлагался, возле него кружили крупные черные мухи и, как это ни странно, пчелы. Я зашел в распахнутые двери магазина. Он оказался ювелирным. Золотые безделушки аккуратно лежали под стеклом. Взял колечко, повертел, подержал в руке, примерил и подбросил. Оно, вспыхнув холодным огнем, покатилося под прилавок. Кому оно сейчас нужно? Я искал вовсе не это. Я искал воду, хотелось пить. Канонада усиливалась.

На город двинулись танки, завязался короткий, но жестокий бой. Я корректировал огонь, но вскоре связь прервалась, наша последняя пушка, вывезенная с таким трудом с самой границы, умолкла. Ее расстреляли. Погиб и расчет, среди которого и Юрка Орлов, наш шофер, лихач, хулиган, но отличный и надежный парень. Это он смог переправить машину с пушкой на другой берег Днепра, чтобы уложить ее и себя под тихим городком Вязьмой. Из тех 26, оставшихся из одиннадцатитысячной 6-й артбригады, стоящей на границе, осталось всего несколько человек. Такой страшный счет предъясняет война. Нас, оставшихся, влили в сильно поредевший 442-й арtpолк 152 мм гаубиц-пушек. Я снова стал командиром отделения разведки батареи, корректировщиком. После падения Вязьмы полк отправили на берег Волхова. Там немцы рвались к нашей северной столице. Но и на берегу Волхова закрепиться не удалось. И снова отступление. Тяжелую технику под непрерывными бомбежками, увозили через сплошные болота. Сдали Тихвин, но ненадолго. Уже в декабре этого же 1941 года город был отбит. Это был первый город, освобожденный нашими войсками. Первая победа! Мы снова вышли к Волхову.

Моя работа разведчика связана с обнаружением целей, сообщением на батарею, которая стоит за несколько километров от передовой, и корректировкой огня. Разведчик – это глаза и уши батареи, и он должен находиться на передовой, в передовых порядках пехоты, он все видит, все знает. Жизнь на передовой сопряжена с риском, постоянными потерями, бесконечными смертями, но постепенно с этим сживаешься, к этому привыкаешь, притупляется осторожность, появляется какая-то беспечность, даже ухарство. Передовая – это изорванная земля, покореженные, изломанные деревья, полуразрушенные землянки и непролазная грязь, все разбито, разбросано, запах взорванного тола, дыма, человеческих испражнений и сладковато-тошнотворный – разлагающихся трупов. Когда линия фронта отодвигалась, убитых собирали и складывали на телегу, а зимой, замерзших в разных позах, на деревенские сани-розвальни. Чтобы не выскальзывали, перевязывали веревками. Свозили к большим бомбовым воронкам, кого смогли, раздевали (одежда шла заключенным). Наполнив, забрасывали комьями мерзлой земли и снега.

Кормили скромно. Неумное чувство голода не покидало. Кухня располагалась на батарее, возле пушек, в четырех-шести километрах от передовой, еду нам приносили. В рацион неизменно входили сухари и сто граммов водки «наркомовские», для смелости – без них под пули идти совсем непросто. Я всегда имел флягу с водкой, на случай ранения. Сухари раскладывали на кучки, и для честного дележа один солдат отворачивался, другой спрашивал: «Кому?» - и тот называл. Иногда, когда наши окопы были близко от немецких, те, издевательски, кричали: «Рус, кому?»

Тех, у кого нервы не выдерживали ада передовой и пытались бежать, специальные чекистские заградительные отряды перехватывали и тут же расстреливали, иногда показательно – для острастки другим. Трудно забыть совсем мальчика с тонкой шеей, в непомерно большой гимнастерке и несуразных ботинках с обмотками. Видимо, из интеллигентной семьи. Он плакал и молил: «Больше не буду. Не стреляйте. Мама будет плакать». Я отвернулся, закрыл глаза и заткнул уши.

После Тихвина была Малая Вишера, за ней деревня Некрасово, где вместе с пехотой ходил в атаку. Как говорят, в атаку ходят лишь раз, потом или «наркомздрав», или «наркомзем». Ходил статистом, создавая видимость большой численности, оружия у меня все еще не было, и не только у меня. Политруками был брошен клич: «Оружие добудешь в бою!» Ни больше и ни меньше. Но у меня была ракетница и пара ракет.

Немецкий пулемет, стрелявший из дзота, не давал поднять головы. Я лежал в глубоком снегу где-то у самого края фланга. Мне удалось обойти этот дзот и пальнуть в него ракетой. Пулемет замолк, облегчив нам жизнь. К вечеру немцы все же отступили. От деревни ничего не осталось, лишь развороченные печные трубы, какие-то бревна, доски, разбитые немецкие дзоты и трупы, трупы, трупы – немецкие и наши. Я с интересом рассматривал место, где недавно были живые немцы. На снегу сидел один из них, раненный в обе ноги, без шапки, несмотря на крепкий мороз. Ветер теребил его жидкие белесые волосы. Несгибающимися отмороженными руками он, ткнув себя в грудь, безнадежно бормотал: «Рус, стреляй!» Я не обратил на него никакого внимания. Но позади раздался выстрел, я обернулся. Молодой пехотинец поправлял на плече винтовку. Немец лежал на боку, возле его головы багровел снег.

- Ты его? Зачем?

- Да жалко, мучается человек без рук, без ног, – добродушно ответил тот.

Эта смерть, среди сотни виденных, почему-то запомнилась.

В следующую деревню Папоротное, лежавшую по дороге к Волхову, я с моими разведчики вошли первыми. Ночью мы подошли к деревне, не встретив немецких постов. Она была мертва – ни огонька, ни звука. Подойдя к крайней избе, я тихо постучали в окно. Напряжение предельное, в руках гранаты. Если в деревне немцы, нам не здобровать – что наша пятерка сможет сделать против гарнизона. Конечно, мы рисковали. Что поделаешь, такая у нас работа. За стеклом появилось несвежее и перепуганное женское лицо. Немцев в доме не было. Не было их и в деревне, ушли вечером. Дорога, ведущая в деревню, была минирована, но очень небрежно. Торопились.

Затем кровавые бои на Волхове, между деревнями Ямно и Шевелево, расположенными по обе стороны реки. Немцы, закрепившись на противоположном высоком берегу, находились в выгодном положении. Ночью пришлось идти на другую сторону выяснять обстановку. Но ночь мало отличалась от дня: осветительные ракеты почти без перерыва висели над рекой. Реку форсировали по льду. Тяжело, с большими потерями. Лед был густо усеян замерзшими трупами. Ползли от трупа к трупу, прикрываясь ими. Одного разведчика оставили на льду. На утро комвзвод, по уму и интеллекту мало чем уступающий незабвенному младшему лейтенанту Зиме, приказал снова идти на лед, теперь уже днем, и выяснить судьбу разведчика. Каждый метр льда просматривался и простреливался. Это – верная смерть, даже если и ранят, никто не пойдет днем тебя вытаскивать, замерзнешь. Доказывать что-либо бессмысленно. Пришлось надеть маскировочный халат и ползти к реке. У уреза льда заглянул в пехотную землянку. Там майор с медсестрой, сидя на ящике из-под снарядов, глушили водку. Поинтересовавшись, куда я ползу, медичка весьма круто высказалась, назвав меня, комвзвода и разведчика, что на льду, коротким русским словом. Покопавшись в каких-то бумажках, налила кружку водки: «Пей, – и она снова повторила это слово, – ночью я его выволокла. Он в санбате» – и отломала хороший кусок колбасы. Лексикон сестрички меня ничуть не смутил, это был мой лексикон. На фронте мат был главным составляющим любого разговора. Матерными словами выражали все – и ненависть и любовь, и хорошее и плохое. Матерились, не замечая этого.

Возвращаясь, наткнулся 45-ти миллиметровую противотанковую пушку. Из-за большой уязвимости ее прозвали: «Прощая, Родина!» Вот, и возле нее была воронка, и расчет был мертв. Пушка исправна. На немецком берегу хорошо просматривался миномет, обстреливающий наш берег. Захотелось похулиганить. Наведя канал ствола дал по нему парой снарядов. Миномет замолк. Это взбесило немцев и они со всех видов оружия открыли по нам шквальный огонь. Ответить было некому и нечем – почти все лежали на льду, уже присыпанные снегом. Едва успел прыгнуть в какую-то яму, где и отсиделся. Когда я пришел, комвзвод спросил: «Какой раздолбай там стрелял из сорокопятаки? Фрицы нас чуть не накрыли». Я молча пожал плечами и придвинулся к огню – сильно замерз.

Как то, находясь в разведке, я тихо продвигался в густых зарослях ивняка и неожиданно лицом к лицу столкнулся с немцем, видимо, тоже разведкой. Он оказался испанцем из «Голубой дивизии», воевавшей на стороне Германии. Он не успел взбросить автомат, а мой пистолет лежал за пазухой фуфайки. Мы схватились, завязалась рукопашная. Я старался прижать его к себе, чтобы он не смог в меня развернуть автомат. Сильным ударом каски испанец разбил мне лицо, выбил зубы, разбил нос. Вся его физиономия была измазана моей кровью, жизнь висела на волоске, но я смог достать пистолет.

В районе занятой немцами деревни Александровка, что на Волхове между Новгородом и Питером (когда-то в ней размещались знаменитые аракчеевские казармы), были большие склады боеприпасов. Их надо было уничтожить, но из-за леса они видны не были. Пришлось переходить линию фронта и по радио корректировать огонь. Пошли я – корректировщик, радист с громоздкой и неудобной радиостанцией 6-ПК (как говорили: «6-ПК не работает пока, только нажимает шею и бока») и солдат с аккумулятором. На этот раз все обошлось. Немцы нас не запеленговали. От склада ничего что осталось. Но, возвращаясь, столкнулись с нашим передовым охранением. Нас посчитали немецкой разведкой и развернули пару пулеметов. Выручил громкий мат. Нас не только узнали, но и накормили. Командир дивизиона капитан Зинченко за это мне объявил благодарность: «Ты хоть и еврей, но молодец», – налил кружку водки и дал кусок хлеба с колбасой. Я не знаю, что он написал в боевом донесении, но вскоре стал майором и на груди у него засверкал новенький орден Красного Знамени.

Готовилось наступление. Требовался «язык». Мы пошли небольшой группой. Ушли в ночь. Удачно пересекли линию фронта и углубились в лес, но рассредоточились и в густом кустарнике потеряли друг друга. Я остался один. Спрятался за большую кучу сучьев и веток. Немцы, видимо, были где-то недалеко – виднелась небольшая тропинка. Чувство одиночества и беспомощности охватило меня. Как все сложится? Было страшно. Почему-то вспомнилась мама. Как она, бедная, переживет похоронку? А папа? На финскую он провожал меня до самого вагона. Забравшись в теплушку, я обернулся. У папы на глазах висели крупные слезы...

Было еще темно, но ночь уже начала таять. На тропинке появилось размытое пятно, постепенно принимающее человеческий облик. Немец! Я оторопел. Дыхание перехватило, сердце учащенно забилось. Он был без оружия в расстегнутом френче. Бледное немолодое лицо, впалые небритые щеки, нечесанные волосы. Какой-то дохляк или больной. Немец подошел вплотную, наверное, искал укромное местечко. Я застыл, напрягся до предела. Дрожь волнами пробегала по телу. Удар был сильный. По голове. Оглушенный, он зашатался, но устоял. Глаза стали огромными, квадратными, подбородок мелко дрожал. Он не мог произнести ни слова, лишь прерывисто дышал. Я боялся, что он заорет. Наведя пистолет на грудь, тихо, но внятно приказал: «Kein Laut, Kein Wort, oder – alles – Tod!» – «Ни слова, ни звука, иначе – конец – смерть». Он умоляюще посмотрел на меня, втянув в плечи голову, и путаясь ногами, покорно побрел.

На батарее это произвело фурор. Все приходили посмотреть на фрица. А он сидел и тупо смотрел в землю, ожидая своей участи. Я чувствовал себя именинником, хотя ничего героического не совершил. Просто повезло, немец попался покладистый. Был бы с оружием, да покрепче, сценарий мог быть совсем иным.

Командир дивизиона Зинченко, так же, как и в прошлый раз, торжественно объявил благодарность. Снова налил кружку водки, дал кусок колбасы. Водку я чуть пригубил – она никогда не доставляла мне удовольствия, а колбасу проглотил почти не жуя. Я, как и всегда, был голоден. Немца отвезли в штаб. Он оказался каким-то писарем, что-то знал, что-то рассказал. А через некоторое время Зинченко получил второй орден Красного Знамени. Но не пошли ему в прок эти ордена – попал под бомбежку и, как говорят, «погиб смертью храбрых».

Однажды возле нас сбили немецкий самолет. Летчик, выбросившийся на парашюте, приземлился рядом. Его фамилия оказалась, как и моя, Кауфман. Это случайное совпадение наш слишком ретивый политрук понял по-своему и послал депешу в «Смерш», что я, мол, немец и мне нельзя доверять защиту Родины. В то время вышел указ об отзыве с фронта всех западников и советских немцев. Мною заинтересовались, начали таскать. Все мои доказательства не убеждали. Пришлось прибегнуть к решающему алиби, доказывающему мое еврейское происхождение.

В январе 1942 года была предпринята попытка силами нескольких армий, в том числе нашей 52-й в районе деревни Мясной Бор, что севернее Новгорода, осуществить прорыв и, дойдя до Любани, соединиться с другими армиями, и снять блокаду с Ленинграда. Бои были жестокими, и деревня свое название оправдала. В прорыв вошла 2-я ударная армия. Им, однако, требовалось подкрепление. Наш полк раздели поровну, одну часть оставили на месте, а другую – придали 2-й Ударной. При дележе комбат капитан Строганов ткнул в меня пальцем: «Ты останешься». Я умел готовить данные и стрелять по карте, что на нашей батарее умел лишь он и я. А та, вторая половина, ушла в прорыв. Ее судьба – это судьба Второй ударной, власовской. Ее теперь знают все.

Затем Ленинградский фронт, попытка снятия блокады с севера. Синявинские болота, Торфяные поселки. Попал под бомбежку. Засыпало землей. Контузило. И до сего времени плохо слышу на одно ухо. Блокаду не прорвали, захлебнулись активностью немецкой авиации.

Следующая попытка прорыва была зимой 1943 года. В этих боях я, как обычно, сидел на наблюдательном пункте, и корректировал огонь. Немцы засекали. Первый снаряд разорвался за моей спиной, второй – впереди. Я все понял – вилка. Очнулся в санбате. Осколком легко ранен в руку, но взрывной волной сбит с высокого дерева. Падение тормозили густые ветви. Это меня спасло. Сломаны лишь обе руки. Три мучительных месяца в госпитале в городе Боровичах, что под Питером. Обе руки в гипсе, вместе с пальцами. Какой ужас без рук! Медсестры – девочки десятиклассницы, почти мои сверстницы, не только кормили ложечкой, но и водили в туалет, купали. Я сгорал от стыда. Из госпитальных впечатлений запомнилась смена обстановки. После нескольких лет жизни на передовой, в землянке, сна, не раздеваясь, грязи, вшей, коптилки из соларки, вечного чувства голода и ежесекундного ожидания смерти. И вдруг – чистая постель, электрическое освещение, еда из тарелок, чай из стаканов и звук легких женских каблучков. Не верится. Не сон ли? Только здесь понял, как по всему этому изголодался, с каким наслаждением, с жадностью впитывал.

В госпитале узнал, что с того же дерева, с которого сбили меня, сбили и моего комбата Жору Строганова, хорошего артиллериста и хорошего парня, спасшего меня от судьбы власовской армии. Мои разведчики его любили и даже достали для него немецкий аккордеон. До войны он был студентом театральной школы, хорошо играл на скрипке и баяне. Осколком ему вырвало бок, да еще падение с высокого дерева. Вряд ли выкрутится. Жаль! Очень!

Из госпитальной публики особо запомнилась Рахиль Шапиро, врач, дававшая мне наркоз. Красивая, с густой копной волос, цвета вороньего крыла и чуть подведенными губами. Дочь известного в довоенном Минске врача Моисея Шапиро, Рахиль была ненамного старше меня. Свободными вечерами подолгу сидела на моей кровати. Рассказывала, вспоминала, расспрашивала. Медицинститут закончила перед самой войной, тогда же и вышла замуж, но муж погиб при первой же бомбежке города. Так она стала вдовой, не успев быть женой. Иногда заботливо поправляла одеяло, или поила чаем. Как-то принесла, как я пошутил, в клювике шоколадку и мы ее слопали. Я был благодарен заботливым женским рукам, приятной улыбке, и всегда ждал ее прихода.

Лежал в коридоре, в самом его конце. Шли бои за прорыв блокады Ленинграда, и все места, где можно было поставить койку, были заняты. Позже часть раненых эвакуировали в глубокий тыл, и обстановка несколько разрядилась. Рахиль перевела меня

в офицерскую палату. Там было не только комфортней, но и кормили сытнее. На лучшем месте возле окна лежал не-то майор, не-то подполковник интендантской службы, тыловая крыса, прохиндей редкий. Он не пропускал ни одной юбки, потом, хвастаясь, рассказывал всей палате мельчайшие подробности (думаю, с немалой долей вранья), довольно и победно смеясь. С утра и до глубокой ночи на его койке собирались картежники. Играли круто, ставки были высокими. То ли он играл хорошо, то ли мухлевал, но, выбросив из наволочки подушку, плотно набил ее деньгами. Прося кого-нибудь из obsługi купить водки, деньги вынимал горстями, не считая.

Другой заметной фигурой был Сашка Закревский, мой близкий госпитальный товарищ. Летчик-истребитель, летавший на тупоносых И-16, или «ишаках». Ранен шальной пулей в ногу («ишаки» были обтянуты лишь промасленным брезентом и почти лишены брони). Сашка – поляк из Ржева, и я его в шутку называл «блэжитна крэв», т.е. польски – голубая кровь, на что он, тоже шутя, утвердительно кивал головой. Сашка был веселым парнем, балагур, и девочки от него млели. Его ранение, хотя и не серьезное, означало конец карьеры: пуля перебила нерв, и стопа не поднималась, педалями он пользоваться не мог. Сашку должны были демобилизовать, но он обманным путем достал одежду и удрал в полк. В связи с сильными боями расход летного состава был значительным и пополнялся с трудом. Сашкиному приходу обрадовались. Он ухитрился как-то пристроить стопу к педали и начал летать. После нескольких пробных полетов снова пошел в бой. В одном из них сбил два самолета, и когда кончился боекомплект, пропеллером срезал стабилизатор у третьего, а сам выбросился с парашютом. Стал героем. Об этом я прочел во фронтовой газете. Он мне ее прислал (она у меня сохранилась). Я его поздравил, но ответа не получил, не получил ответа еще на одно письмо и еще на одно. Сашка погиб.

Лет через пятьдесят после войны в Петрозаводскую еврейскую общину приехали представители евангелической общины немецкого города Тюбингена, оказывающие нам некоторую материальную помощь. Теперь это стало модным. Их руководитель Пауль Целлер в разговоре со мной поинтересовался, где я воевал. Оказалось, что мы оба были не только на одном участке фронта, но и под одной деревней Званкой (где было поместье поэта Гариила Державина) только с противоположных сторон. В боях за эту деревню я был ранен, а Целлер пленен. Я лежал в госпитале в Боровичах, а он в этом же городе находился в лагере военнопленных, а встретились через столетия в еврейской общине! Фантастика!

После госпиталя направили в команду выздоравливающих, которую использовали на разных работах. Как-то на пару дней поехали на уборку турнепса в ближайший колхоз. Даже в хорошее время северные деревни выглядели убогими и серыми, а сейчас – покосившиеся дома-развалюхи, их некому чинить, везде запустение, удручающее малолюдье и бедность. Женщины – не молодые, не старухи, как тени незаметно появлялись и исчезали в подворотнях. Но наш приезд освежающим ветерком пробежал по деревне, она стала светлей, улыбчивей. Вечером в заброшенном клубе яблоку негде было упасть, собралось все женское население, приделались, некоторые даже чем-то подкрасились. Принесли гармонь, нашелся и гармонист. То здесь, то там вспыхивал женский смех, пошли танцы. Все ожило. Ночью, в отведенном нам помещении, я спал один. Кто пришел далеко за полночь, кто – утром.

Очередная медкомиссия определила, что я снова годен к защите Родины и меня направили на Балтфлот. Во время блокады Ленинграда флот бездействовал, а моряков списали в морскую пехоту, бригады которой сильно редели. Когда функционирование флота стало возможным, обслуживать его было некому. Мною и такими, как я, решили заполнить эту брешь.

Из Лисьего носа пешком по льду Финского залива отправились в Кронштадт. Там, как обычно, баня и замена армейской формы на флотскую. Здесь же и «крестили» – заставили выпить бутылку водки из горла, без закуски. Жестокое действо, тем более что я

вообще пить не люблю. Опынял, дико кружилась голова, тошнило, но все понимал, лежал в кубрике и ждал конца этим мукам.

Разместили в третьей северной казарме. Кронштадт понравился. Чистый, опрятный и строгий, как корабельная палуба. Красивый морской собор, переделанный в кинотеатр имени Максима Горького, висячий мост, большой памятник адмиралу Макарову. Рукой он указывал на интендантские склады: «Пропей, матрос, все, там тебя снова оденут», – это из матросского фольклора. Спасая от бомбежек, памятник Петру I сняли с пьедестала и зашили досками. Матросы хохмили: «Петя захотел пи-пи, и его опустили на землю, а досками закрыл глаза, чтобы не видеть баб на флоте». Меня удивило обилие надписей на заборах и стенах домов: «Убей Рашпиля и ты спасешь матросов Балтики», «Смерть Рашпилю!» и тому подобное. Оказалось, что Рашпиль – это прозвище начальника гарнизонной гауптвахты Кронштадта, тупого и жестокого солдафона, прославившегося изощренными издевательствами над матросами. На него покушались, но неудачно. Однажды в Кронштадт прибыла вестовая адмирала Трибуца, командующего Балтийским флотом, – стройная девушка с копной густых красивых волос. Она шла по городу в неположенное время – в Кронштадте действовал комендантский час. Патруль ее перехватил и отвел в комендатуру, где и была гауптвахта. Здесь-то никогда не просыхающий Рашпиль и дал волю своему самодурству: «Почему длинные волосы?! По уставу военно-морского флота женщины, служащие на флоте, должны носить коротко подстриженные волосы», – и сунул ей под нос устав, отчертив грязным толстым ногтем строку, и взял в руки ножницы. Девушка объясняла, молила, просила, грозила, плакала, но Рашпиль стоял на своем: «Трибуц тоже должен подчиняться уставу». Над ней поиздевались всласть, клочки волос выстригали где вздумается. Изуродовали, измучили, обессилили. Такого адмирал вынести не мог и, показав, кто командует Балтийским флотом, списал начальника гарнизонной гауптвахты города-крепости Кронштадта, в штрафняк. Там-то матросы с ним и разобрались. Больше его никто не видел.

Я попал в дивизион траловых катеров КМ, или каэмок – катер маленький. Разминировали Маркизову лужу, т.е. Финский залив, в районе острова Лавансаари. Работа, не дающая права на ошибку. Один катер из нашего дивизиона напоролся на мелко сидящую мину. От него остался лишь огромный столб воды и дымок, а второй, шедший с ним в связке, разорвало по швам. Одного матроса, еще живого, подобрали, но он умер от переохлаждения – по заливу шло сало-льдины.

И все же для укомплектования флота мужчин остро не хватало, и там, где это было возможно, их заменяли женщинами. Для этого в Кронштадт прибыл первый женский отряд. Случай беспрецедентный. Командовать им назначили капитан-лейтенанта Колю Краснова. Он, истосковавшийся по «нежному и слабому», обрадовался, а многие ему завидовали, считали счастливчиком. Но цыплят по осени считают. Сложности появились еще до их приезда. Оказалось, что для обмундирования одних тельняшек недостаточно, необходимы и бюстгальтеры, а они еще и разных размеров, и чулки, и трусики, и подвязки, и женский трикотаж и многое, многое другое, с чем, естественно, на флоте не сталкивались, чего в перечне флотского довольствия не значилось и в кронштатских интендантских складах, естественно, не было. Пришлось срочно с кем-то советоваться, кого-то спрашивать, консультироваться, куда-то писать, кому-то звонить, кого-то просить. Коля намотался, намучался. Но это все цветочки... По приезде их, как и всех, отправили в баню. Помывшись и расписавшись в ведомости, приступили к получению обмундирования. Но одной части было положено флотское, а другой – армейское. Вот тут-то и началось. Большинство девиц отказалось от армейской формы: «Хочу тельняшку! Почему Светке дали, а мне нет. Что она красивая? Да?!» Некоторые пустили слезу. Сидят, чуть прикрывшись полотенцем, и режут. Галдеж поднялся неимоверный. Старшина, здоровенный мужик, один из немногих, оставшихся от погибшей 6-й бригады морской пехоты, и раздававший шмотки, растерялся. Не зная, что делать с взбунтовавшимся голым бабьем, вызвал каплея. Тот не решался войти, но

старшина настоял. Каплей пытался их урезонить, уговорить, устыдить, пригрозить, но не тут-то было: «Это вы специально не дали обмундирование до бани, чтобы zenки пялить на голых баб!» и тому подобное. Еле-еле, с муками, их одели и отвели в казарму. Но дальше – лучше. Подъем, как обычно, в шесть и на зарядку. Но на зарядку выходило лишь несколько человек, остальные спокойно досматривали утренние сны.

- Почему не встаете?! – ревел каплей, но в ответ спокойное:
- Чего кричите? У меня сегодня женское.
- Как женское?! Почему женское?! У всего отряда?!

Командир учебного отряда кипел и пенился, но поделаться ничего не мог. Кто их знает, у кого действительно, а кто – симулирует. Позже появились и требования на увольнение. На ночь. Когда начались бомбежки и прочие фронтовые «прелести» некоторые решили, что лучше быть матерью-одиночкой, чем вообще не быть, и беременели. Когда это стало слишком частым, беременность приравнивали к дезертирству. Краснов несколько раз подавал рапорт о переводе в боевую часть, хоть в штрафную, хоть куда-нибудь, но подальше от «нежных и слабых». Но начальство лишь ехидно посмеивалось.

Раненые руки сильно отекали, болели, всякая физическая нагрузка давалась с муками, и медкомиссия списала меня на берег, в экипаж, в нестроевые. Назначили в бригаду электриков по восстановлению сильно потрепанного бомбежками Кронштатского морского завода. Как-то в конце лета 1944 года меня отправили по делам в Питер. Очень этому обрадовался. Сойдя с катера, первым делом помчался в Университет. Его вид меня огорчил. Пропала прежняя парадность, торжественность. Он вызывал жалость, какой-то обшарпанный, убогий, с выбитыми стеклами, заделанными фанерой, торчащими трубами «буржук». Но в нем уже теплилась жизнь. Весь состав университета возвратился из Саратова, куда был эвакуирован. Началось восстановление. Всем руководил энергичный Ал. Ал. Вознесенский – ректор университета. Деятельный, умный, красивый с удивительной зрительной памятью, знавший сотни студентов, знал и меня. Я к нему приходил в числе нескольких студентов – инициативной группы по организации Биологического научного студенческого общества. Позже оно из факультетского стало университетским, а еще позже – Всесоюзным. Когда в конце сороковых громили университет, Вознесенского арестовали и расстреляли. За что? Как и многих, ни за что!

Когда я пришел в университет, проректором был профессор Матвей Гуковский, известный специалист по итальянскому Возрождению. Позже, когда страну захлестнула антисемитская возня с космополитизмом, его арестовали, арестовали и его брата Григория – не менее известного пушкиниста, удивительно даровитого лектора. Послушать его приходили студенты из других факультетов. Такое было и на лекциях известного историка академика Тарле (свое уже отсидевшего), физика Гуревича и некоторых других. После смерти «светоча» Матвей возвратился, а Григорий не выдержал «беспристрастности» следствия.

Увидев меня, проректор поинтересовался, что мне в университете надо. Узнав, что я студент и нестроевой, он тут же обратился к секретарше: «Приготовьте, пожалуйста, документы на этого товарища». Оказывается, был правительственный указ о возвращении в вузы студентов-нестроевиков. Ведь война кончалась. Через несколько дней я снова держал в руках новенький студенческий билет. Радости моей не было предела! Пять долгих лет, через чудовищные муки, кровь и бесчисленные смерти я шел к этой 133 аудитории, где читали общие для всего курса лекции. Снова я мог ходить по знаменитому университетскому коридору, часами копаться в книгах, допоздна сидеть за микроскопом. Какое наслаждение, какое счастье! Но мои первые университетские дни были омрачены прозой жизни – полным безденежьем, ни копейки. Когда я уезжал из Кронштадта, товарищи меня снабдили не только парой карандашей и серой оберточной бумагой для конспектов, но и несколькими банками американской тушенки. Вот ее-то я и решил превратить в деньги: товар-деньги-товар.

Стою на рынке с банкой в надежде на покупателя, но никто не подходит. Подошел милиционер, повертел в руках, спросил откуда. Ничего не подозревая, я откровенно признался, что из Кронштадта. Попросив документы, мент поволок меня в милицейскую контору, которая была здесь же на рынке, в доме на втором этаже. В кабинете за простым письменным столом сидел молоденький младший лейтенант и что-то писал. «Вот, один из этой шайки спекулянтов. Из Кронштадта возят тушенку, а обратно – водку». Лейтенант взял банку и новенький студенческий билет и положил в ящик стола. Отправив милиционера, он закончил писать, взял лист бумаги и вышел в другую комнату: «Подожди, я скоро вернусь, и мы разберемся». Неожиданно я остался один. Надежды на справедливость нашей милиции у меня почему-то не было и я, как когда-то в разведке, решил рискнуть. Открыв ящик стола, взял студенческий билет, забрал тушенку и нырнул в дверь. Возле дома стоял милиционер.

- Ты куда? – удивился он.

- Как, куда? Домой. Вот, начальник отпустил, – и я показал билет и тушенку.

В это время мимо проезжал трамвай, и я рванул, вскочив на подножку. Так в моей биографии появилось такое понятие, как побег.

Специализироваться начал с первого курса на кафедре беспозвоночных животных у знаменитого профессора В.А.Догеля, а со второго – и на кафедре эмбриологии у не менее знаменитого профессора П.Г. Светлова. Это были не только блестящие ученые, создатели новых научных направлений, но и замечательные личности, последние осколки дворянской интеллигенции, определившие эпоху в культурной истории России. Их порядочности, воспитанности, благородству и гражданской принципиальности теперь можно только удивляться. Мне посчастливилось не только слушать их великолепные лекции, но и общаться, наблюдать их в быту, наслаждаться красотой и грамотностью их речи, манерами поведения, деликатностью. Все это было естественным, заложенным в их генах. Общение с ними осталось ярчайшими моментами в моей, далеко не очень простой жизни.

Учился с большим удовольствием, хотя было нелегко, Стипендии, конечно, не хватало, все время приходилось подрабатывать. Работал на любых работах, которые подворачивались. И, тем не менее, университетский курс по двум кафедрам прошел за четыре года, пятый, оставив для научной работы. Всего сдал 50 экзаменов, из них одна четверка, по педагогике – не смог внятно осветить роль комсомола в воспитании патриотизма у молодежи, и тройка по немецкому языку. В те годы война в моем сознании еще не прошла, и память была ею полна, что поддерживало сильную психическую аллергию ко всему немецкому. Я не мог слышать немецкую речь, хотя и неплохо ее понимал, и не мог заставить себя сдать экзамен по немецкому языку. Деканат не знал, что со мной делать – все пятерки, а иностранный язык не сдан. Решили поставить тройку без экзамена. Это лишило меня диплома с отличием.

В ночь на 9 мая 1945 года молодой здоровый сон студенческого общежития на проспекте Добролюбова был разбужен вдруг возникшей суматохой, шумом, криком. Без стука врывались в комнаты, заполняя их радостным ошеломляющим криком: «Ура! Войне конец!» Мгновенно вся общага зашевелилась, задвигалась, превратилась в разбуженный огромный человеческий муравейник. Все куда-то бежали, все что-то кому-то говорили, никто никого не слушал, орали, смеялись, плакали. Общежитие охватило какое-то вселенское безумие.

В тот год я жил в одной комнате с Федькой Абрамовым, студентом третьего курса искусствоведческого факультета (тогда такой был). Он, как и я, демобилизовался. Это потом Федя стал известным писателем, а тогда, вскочив с постели, натянув на голые ноги сапоги, стал прыгать и пританцовывать, дико трясая меня за плечо: «Зямка, черт побери, конец мясорубке! Мы остались живы! Живы-ы-ы-ы!»

Не сговариваясь, все пошли в университет, но для меня случилось непредвиденное: напротив, на Неве у стенки стоял военный катер. На палубе откачивали утонувшего

матроса. Солидарность к еще недавним товарищам толкнула меня через каменную ограду на палубу. Я откачивал до последнего. Кто-то догадался вызвать «скорую», и она его увезла. Думаю, без успеха. На винт намотался кем-то выброшенный трос, и, надев легкоодолазный костюм, матрос спустился под воду. Но что-то случилось с воздушным питанием, и он задохнулся. Какая нелепая смерть. В день окончания войны, на Неве, возле университета. Ведь он, несомненно, прошел блокаду, переступил через много смертей, чтобы умереть здесь, сегодня...

В университетский двор выкатили откуда-то взявшуюся огромную бочку вина и Папаша (так прозывали ректора) черпаком всех потчевал. Стихийно возник митинг, Лева Вольф, студент филфака, что-то запел – у него был прекрасный баритон (позже Леву арестовали). Отсидев семь лет, он уехал в Израиль, стал крупнейшим специалистом по творчеству Томаса Манна и Фейхтвангера). Затем все пошли на кладбище, помянуть тех, кому не суждено было дожить до этого дня.

Невский был до отказа заполнен народом, движение транспорта перекрыли. Тысячи людей ликовали и плакали. Всех встречных в военной форме обнимали, качали, целовали. Я был весь в губной помаде, нацелован на всю мою последующую жизнь.

Вечером собрались у нашего сокурсника Доната Наумова. Его огромная квартира была почти пуста. Все было сожжено в блокаду – и шикарная старинная мебель, и огромная библиотека. Отец Доната еще до войны носил три ромба, это что-то вроде нынешнего генерал-полковника. Он был крупным военным инженером. Как-то, еще до войны, шел по мосту лейтенанта Шмидта (в то время такие чины еще ходили пешком, без охраны и лакеев), навстречу мчался автобус с детьми, но, потеряв управление, пробил ограду и рухнул в Неву. Не раздумывая, комкор нырнул вслед за автобусом спасать детей. Разбив окно, он начал вытаскивать ребятишек, но в этой каше запутался и утонул. Сейчас такой поступок трудно себе представить: другие времена – другие нравы. Судя по рассказам, он был интеллигентным и неординарным человеком, даже своим двум сыновьям дал нестандартные имена: старшему – Донат, младшему – Дарвин. Дана и Дорик – так их звали жены.

На наш первый победный банкет все принесли что-нибудь съестное. Я по продуктовой карточке отоварил за неделю сахар – 300 грамм, полкило хлеба и бутылку водки.

Одним из моих университетских приятелей был Миша Гельтцер, студент отделения гебраистики восточного факультета (тогда еще на это отделение евреев принимали). Стимулом к нашему знакомству послужила моя неизменная национальная ориентация. Как-то Миша познакомил меня со своей девушкой Цилей Лившиц, студенткой филфака. Она мне приглянулась: хорошенькая, умненькая. Я был старше Миши и опытней и вскоре стал встречаться с Цилей. У нас вспыхнула большая и серьезная дружба. Миша это тяжело переживал, но ничего поделать не смог. Позже я его потерял, но нашел через 30 лет, когда он уже был профессором Хайфского университета. А нашу дружбу Циля описала в своей книге «Утерянные ключи». Лучше ее я не смогу. Но мы все же расстались. Вновь Цилю я нашел через столетия. Сейчас она Циля Сегаль, один из руководителей Самарской еврейской общины, одной из крупнейших в России.

Будучи на каникулах дома в Чернигове, пошел купаться на Десну, поваляться на горячем песке. День выдался хороший, на небе ни облачка. Тихо, сонно, и я начал дремать. Вдруг возникла паника, кто-то тонул. Рядом лежащая женщина показала рукой, и я рванул в воду. После немецких бомбежек в реке осталось много воронок, которые еще не успели затянуться. В такую воронку и попала незадачливая купальщица и, захлебнувшись, стала тонуть. Спасать было несложно: пару хороших толчков – и под ногами дно. Перепугавшись, она не могла устоять на ногах. Подхватив, я вынес ее и положил на песок, она дрожала мелкой дрожью. Разогнав зевак, сел возле. Когда все успокоились, посмотрел на нее другими глазами. Передо мной была приятная девушка, хорошо сложена, с совсем неплохим личиком. Это был первый год ее самостоятельной

работы врачом. Когда пошли домой, я ее проводил. На завтра мы встретились, на послезавтра то же и так пару лет. Когда я перешел на последний курс, она сменила свою фамилию на мою (ее девичья фамилия тоже была Лившиц). Назавтра после регистрации я уехал кончать университет, а медовый месяц отметили лишь через семь долгих и тяжелых лет.

Я уже упоминал, что одно время в общежитии жил в одной комнате с Федей Абрамовым. Федя из глухой северной деревушки, старший в многодетной семье, оставшейся без отца. Совершенно непонятно, как, каким образом деревенский мальчишка заинтересовался архитектурой немецкой готики. Но он стал студентом искусствоведческого факультета университета. Немецкий знал превосходно. Способен удивительно. В быту был малообщительным, замкнутым, мрачноватым, крайне редко смеялся, лишь слегка улыбался, по выходным на танцульки не ходил, не знаю, умел ли танцевать, не проявлял активности по отношению к девушкам. Повзрослев, он понял, что учиться на искусствоведческом, конечно, интересно, но, что потом? Будет ли немецкая готика кормить? И Федя перешел на филфак, на третий курс, дождав кучу экзаменов. Закончив, был оставлен в аспирантуре. Диссертационную тему выбрал беспроектную – что-то о творчестве Шолохова. Защитился и остался на факультете преподавать тоже беспроектный курс «Историю советской литературы». Что же, и Федя был сыном своего времени. Но в развернувшейся в то время травле евреев, космополитов, участия не принимал и на антисемитских шабашах замечен не был. Писательская судьба его была непростая: долго не замечали, отказывались публиковать. Но, пробив стену непризнания, став профессиональным писателем, оставил университет. Вторично я его встретил лет через десять, уже после того, как вновь возвратился в Ленинград, на Невском, в троллейбусе. Он меня, поначалу, не узнал. Потом мы вышли, зашли в магазин, взяв пару бутылок водки, Федя пытался затащить меня к себе (он в то время много пил), но я не мог. Был в командировке, вечером должен уезжать, а дел невпроворот. Так на Невском мы и расстались. Больше я его не видел. Он уже был смертельно болен. Недавно узнал, что на фронте Федя работал оперуполномоченным, служил «в органах».

Наш университетский курс – первый послевоенный. Он был разношерстным, как социально, так и по возрасту: дети адмиралов, генералов, академиков, крупных государственных деятелей и такие, как я, бедствовавших, живших временными заработками. Девочки, только что окончившие школу и отвоевавшие парни. Последние составляли всего 10 процентов – война... Но через некоторое время мы превратились в очень дружный коллектив и собирались даже через десятки лет. На курсе я близко сошелся с Андреем Поленовым и Донатом Наумовым. Оба потомственные ленинградские интеллигенты, добрых дворянских кровей. Дедушка Андрея известный нейрохирург. Его имя носит знаменитый в стране Институт нейрохирургии, а брат дедушки не менее известной художник Поленов.

Возвратившись из лагеря, первую свою ночь в Ленинграде я провел у Андрея. Мы до утра сидели на диване и разговаривали. Андрей был достойнейшим человеком. Уже будучи крупным ученым, членом-корреспондентом Академии наук, но люто ненавидевший советский строй, в самое мрачное время, когда полстраны сажало, а полстраны сидело и все 300 одиночных камер в «Большом доме» были заполнены и стукачами был каждый второй, он и его жена Римма были распорядителями фонда Солженицына по Ленинграду. Они рисковали всем – карьерой, свободой, судьбой дочери, жизнью. Это был очень мужественный поступок. Я горжусь тем, что был единственным, кто об этом знал, и кому они доверили.

О Донате я уже упоминал. Позже, он, как и Андрей, стал крупным ученым, организатором больших океанологических экспедиций, посетил множество стран, в том числе и экзотических. Хорошо владея пером, предполагал их описать в серии книг, но написал лишь одну, об Индии, больше не успел: «После тяжелой и продолжительной болезни...», как и Андрей и Римма и почти все мои питерские друзья.

Только что закончилась война, ужасы Холокоста, антисемитская истерия, и на фоне этого – возникновение еврейского государства, исполнение вековой мечты еврейского народа, униженного, оскорбленного, почти уничтоженного, и снова война за его независимость, кровавая, непосильная, со всем арабским миром. Все это сплотило еврейскую молодежь. Мы эти события воспринимали очень близко к сердцу, сильно переживали. Многие из нас прошли войну и еще не забыли, как держат в руках автомат, наиболее радикальные рвались туда. Кроме того, возмущали и идиотские компании по пересмотру основ ряда наук – биологии, филологии, философии и других.

Как-то на одном из партийных собраний, посвященных положению в биологической науке, я, молодой и горячий, выступая, брякнул: «С тех пор, как Лысенко возглавил биологическую науку, та облысела!» По залу прокатился смех, но смеялись далеко не все... Я особо не стеснял себя и в других выражениях. Понятно, что в нашу компанию запустили стукача. Он себя хорошо маскировал и не вызывал подозрений. За нами началась охота. Первого взяли меня. В декабре 1948 года, когда до окончания университета осталось совсем чуть-чуть. На рассвете за мной приехали, обыскали и отвезли в «Большой дом» – здание Ленинградского управления МГБ, поместив в одну из множества одиночных камер. Жизнь сделала очередной крутой вираж. Полгода одиночки, этапы, пересылки, лагеря, непосильный труд и голод. Камера три на четыре шага, цементный пол, под потолком небольшое зарешеченное окно с закрашенными стеклами и большим жестяным козырьком. Возле стенки – металлическая шконка – кровать, которая на день поднималась и пристегивалась к стене, такие же столик и стул, тоже прикреплявшиеся к стене. И тут же унитаз и вода. Толстая дверь с глазком и небольшим отверстием для получения баланды. Электричество не выключалось всю ночь, хотя ночью спать почти не приходилось – допросы, а днем кровать, стул и стол пристегивались к стене, а пол увлажнялся. Отсутствие сна очень изнуряло. Я начал «доходить», но упорно сопротивлялся, не понимая, в чем моя вина перед народом, государством, страной, которую я защищал, каждый день идя на смерть.

Однажды, когда меня поздно ночью приволокли в кабинет следователя, я ахнул: рядом с ним, о чем-то оживленно беседуя, сидел Еська Баренбаум, аспирант французского отделения филфака, активный участник наших тусовок, или, как значилось в следственных материалах, «преступных сборищ». Теперь активно участвовал в допросе. Он был не только примитивным стукачом, но и сотрудником еврейского отдела МГБ. Посадил не только меня, но и еще семерых наших товарищей, не пощадил и красавицу Беллу Локшину, за которой увивался. Его работа щедро оплачивалась. Он, шутя, поступил в аспирантуру, без труда получил квартиру в Ленинграде, быстро защитил кандидатскую, а за ней – докторскую (ее тема: «Ленин, как читатель». Знал какую тему выбрать). Сейчас – профессор Института культуры, заслуженный деятель науки, упоминается в «Российской еврейской энциклопедии», даже ездил с какими-то лекциями в Израиль, ведет безбедную и вполне счастливую жизнь, совесть его вовсе не коробит. Будучи в Питере, я его случайно встретил на Аничковом мосту. Он шел с какой-то женщиной. Меня узнал, изменился в лице, испугался. Я его трогать не стал. Лишь бросил: «Какое же ты ничтожество!» – и плюнул в лицо.

Следствие тянулось полгода, я доходил. Как-то следователь разоткровенничался: «Ты на что-то надеешься? Зря! Прав ты, или виноват – это не имеет ровным счетом никакого значения. Из «Большого дома» ни один человек еще не выходил. Отсюда лишь две дороги: на Голодай (кладбище) или в лагерь. В лагере, конечно, далеко не курорт, но свежий воздух, люди, какое-то общение. Зря упираешься». Он уговорил. Обвинив в создании в Ленинградском университете организации сионистского толка, меня осудили на предельный срок – 25 лет лагерей особо строгого режима (каторжного) и 5 лет поражения в избирательных правах. Судили там же, в «Большом доме». Судья был еврей, бравый, высокомерный, обвиняющий. Вскоре после освобождения я и его встретил возле коллегии адвокатов, что в начале Невского. Он первый меня узнал. Подбежал, стал

извиваться, пресмыкаться, хватал за руки, становился на колени, просил прощения, мол, от него наша судьба не зависела, все было решено до него и без него, и что совесть его мучила и мучает. От некогда надменного, самоуверенного ничего не осталось. Передо мной стоял не первой свежести человек в старом потертом пиджаке с оттопыренными карманами, с седой щетиной на пожелтевших впалых щеках. Личность, вызывающая жалость. Видимо, на задворках его сознания еще теплились какие-то остатки совести. Иначе, зачем бы он ко мне подошел, мог бы быть довольным, что я его не узнал. Я даже уверен, что его, еврея, заставили осудить евреев за еврейские дела. Такое практиковалось, как и подписи евреев под антисемитскими воззваниями. Все это звенья одной большой цепи подлости – государственного антисемитизма, ничем не брезговавшего.

Арестовали и аспирантку экономфака Сою Прупис – члена профкома, личность известную в университете, недавно вышедшую замуж за Николая Фирсова – лидера комсомола университета. Когда Сою арестовали, она была беременна и родила в тюрьме. Ее положение даже в страшном сне не присниться. Тотчас после ареста Колька с ней развелся и порвал всякие отношения. Отсидев срок, она возвратилась в Ленинград. Николай уже работал крупным деятелем в Смольном. Когда Соня хотела ему показать дочь, он их даже на порог не пустил, приказав не выдавать пропуск. Сейчас Соня профессор, видный экономист.

Не все были мразью, как Еська Баренбаум или Колька Фирсов. Другой Колька, но Волинкин, тоже заметная фигура в университете, не испугался грозного МГБ и выступил в защиту Беллы Локшиной. Тая, девушка Бена Пременгера, осужденного вместе со мной, закончив университет, уехала на Магадан, где он отбывал срок, и сопровождала Бена по всем лагерям, работая в лагерных поселках. Когда его освободили, они уехали с двумя детьми. На такой подвиг вряд ли были способны даже жены декабристов.

Могущественных чекистов не испугались и мои учителя профессора Павел Григорьевич Светлов и Лев Николаевич Жинкин, выступив с заявлением в мою защиту и отослав его в МГБ. Недавно вышла книга генетика Валерия Сойфера «Власть и наука: разгром коммунистами генетики в СССР» о событиях в биологии тех дней. В ней приводится донос профессора Б.П. Токина на Светлова. Бориса Токина добрейший Павел Григорьевич вытащил из провинции и пристроил у себя на кафедре, где тот читал совершенно малозначачий курс. В доносе указывается, что Светлов у себя на кафедре пригрел евреев. А евреями был я и полукровка докторант Дмитрий Штейнберг. Когда я возвратился и восстановился на кафедру, ею заведовал уже Токин, выживший Светлова, хотя и не имел собственных эмбриологических исследований. К этому времени он стал не только лауреатом, но и Героем Соцтруда. Ко мне отнесся подчеркнуто любезно, и на защите моей диссертации при голосовании даже подошел и показал свой бюллетень, чтобы не вызвать во мне недоверия. Вероятно, подозревал, что мне кое-что известно.

Учиться в послевоенное время было совсем непросто: карточная система, мизерная стипендия, жизнь в общежитии и пр. В основном, учиться могли дети обеспеченных родителей. Мне было трудно. Все время приходилось искать какую-нибудь работу, любую. Но и это мало спасало, всегда мучило неумное чувство голода. Как инвалид войны я получал от месткома помощь – УДП, или «усиленно дополнительный паек», как мы шутили: «Умрешь днем позже». УДП состоял из дополнительной тарелки какого-то варева из лебеды и крапивы, или из пары шротов – небольших шариков из жмыха. Как-то, обедая вместе с Цилей, и зная, что она также голодна, как и я, предложил ей эту тарелку. Она упорно отказывалась, и я съел. После этого Циля сказала: «Я думала, что ты еще раз предложишь, и приготовилась согласиться, очень хотела есть, но ты больше не предложил». Когда ходил разгружать вагоны с овощами, фруктами или другими продуктами, надевал две пары брюк, прочно завязывал у шиколотки, и перед концом работы пространство между ними заполнял тем, что разгружал – свеклой, огурцами, турнепсом, картофелем или яблоками, и иногда приходил к Циле на Малую Охту. В комнате, где она жила, поднималась веселая возня. Доставали огромную кастрюлю,

варили и пировали, на время утолив чувство голода. Комната всегда радовалась, увидев меня в брюках, завязанных у щиколоток.

На нашем курсе училась студентка, отец которой был очень крупным начальником. Настолько крупным, что она однажды даже отдыхала вместе со Светланой Аллилуевой, дочерью Сталина. Но в студенческой среде была своя. Иногда приносила шоколад и на лекциях меня подкармливала, хотя я мечтал о черном хлебе. Мы были в хороших приятельских отношениях. Как-то весенним поздним вечером я ее провожал. Возле дома была огромная лужа с плавающими льдинками. «Перенеси», – пошутила она. Я ее подхватил, но через несколько шагов, поскользнувшись, сел на все четыре точки с ней на руках. Ледяная вода мгновенно обожгла тело. Какая неприятность! А она, охватив мою шею, раскатисто смеялась: «Мне хорошо, а тебе?» Рассказывали, что после моего ареста у нее с отцом произошел крайне серьезный разговор. Она просила, умоляла, требовала его вмешательства в мою судьбу, содействия в моем освобождении: «Ты все можешь!» Были слезы, истерика. После этого она даже некоторое время не посещала университет. Несколько лет тому назад, уже будучи бабушкой, сев за руль, на полтора часа пригнала машину из Питера, чтобы повидаться.

На первом курсе ассистентом кафедры, руководимой профессором В.А. Догелем, была Татьяна Александровна, или Танечка – миловидная интеллигентная девушка. Ее отец – известный физиолог А.Г. Гинецинский, по учебнику которого училось не одно поколение врачей и биологов. Таня после окончания учебного года должна была поехать в экспедицию в район дельты Волги. Ей необходим был помощник, и она обратилась ко мне. Это было мое первое послевоенное лето, и я еще не видел родителей. Тогда она это предложила Донату, а осенью, когда они возвратились, я был приглашен на их свадебный вечер. С ними я был дружен до самой кончины Доната и до болезни Тани. У них отметили и мою защиту докторской. Они мне преподнесли именной портфель, в котором лежал килограмм докторской колбасы (как доктору) и бутылка виски «Белая лошадь», на этикетке которой было по-еврейски приписано: «Черная жизнь белой лошади» – это обо мне.

На этой же кафедре возникла еще одна пара – Рахиль и Соломон Шульман. С легкой руки Догеля и в целях сокращения имени Соломона переделали в Сомы и семью их звали Сомами. Особенно я с ними сошелся «из дальних странствий возвратясь». Они жили в большой комнате в коммунальной квартире. Их достопримечательностью был телевизор – тогда еще большая редкость, но доставлявший немалые неприятности. Каждый вечер, когда семья собиралась, ужинала, или занималась насущными семейными делами, жильцы всей квартиры со своими стульями и детишками рассаживались вокруг телевизора. Они не только смотрели, но и оживленно обсуждали передачи, громко смеялись и спорили, сонные детишки капризничали. Сомам было ни поесть, ни отдохнуть. Кончился весь этот кошмар лишь с переездом на другую квартиру.

Сом был, конечно, оригинал. В нем сочеталась масса всяких удивительных качеств. Во-первых, он был большая умница, эрудит, очень сильный специалист в своей области, крупный ученый.

Будучи натурой свободолюбивой, Сом не терпел начальства. В то время мы вместе работали в Зоологическом институте Академии наук СССР. Его директор Е.Н. Павловский был не только академиком, но и депутатом Верховного Совета СССР и генералом и в институт ходил в брюках с красными лампасами, с целым иконостасом орденов, медалей, значков. Совершенно понятно, что такая персона не могла пользоваться общим туалетом, у него был персональный. Где-то, в чем-то генерал Сому перешел дорогу, и ответ последовал мгновенно. Изъяв из ящичка всю туалетную бумагу, он заменил ее наждачной.

Это была удивительно добрая семья, помогающая всем нуждающимся, чем могла. Голодных – кормили, бездомным – давали кров. Особенно много времени и внимания уделяли научной молодежи. Сомы днями и ночами просиживали со студентами,

аспирантами, докторантами, помогали, обучали, беззаветно жертвуя своим покоем, временем, удобством, деньгами. У них всегда были запасные постели, раскладушки, обед готовили в двойном количестве. Понятно, что при таком образе жизни зарплаты научных сотрудников не хватало. Они жили очень скромно, но бесконечные гости об этом даже и не догадывались. Многие кандидаты и доктора своими успехами обязаны этой удивительно семье. Несмотря на значительное количество кандидатов и докторов – более сорока, испеченных Сомом, он так и не имел звания профессора, хотя многие его ученики стали не только профессорами, но заняли различные престижные должности и получили всякие почетные звания, давно забыв, кому они этим обязаны.

Мы воевали близко друг от друга. Я был в районе Синявинских болот, он – под Невской Дубровкой, на знаменитом «Невском пятачке». Оттуда мало кто ушел живым и невредимым. Сом сильно ранило в голову и в таз. Он всю жизнь мучался головными болями, а по случаю ранения в ягодицу горько шутил: «Я на алтарь отечества принес половину своего зада». На его похоронах было несколько сот человек, многие приехали и из других городов.

Все из нашей компании стали крупными специалистами в своих областях, имеющими свой собственный почерк в науке и, конечно, не оставались без внимания наших иностранных коллег. Всех нас неоднократно приглашали в разные страны, читать лекции или выступать с докладами. Но этим могли воспользоваться лишь Андрей и Донат, а Сомы, Таня и я, как евреи, были невыездными. Меня не только не пустили прочесть цикл лекций в университете Дели (все за их счет), но даже не разрешили поездку с тургруппой в Грецию, хотя в группе, как известно, были кагебешники.

После освобождения я приехал в Чернигов, к жене и родителям. Но, вскоре, поехал в Ленинград, кончать университет. Деньги на проезд прислал Донат. Закончив, возвратился к жене. Год был безработным. Не брали. Я, жена, теща, тетя и золовка - школьница жили на мизерную зарплату участкового врача. Хотел на все плюнуть и уйти на лесоповал, эту работу я еще не забыл, но из Ленинграда прислали известие о наборе в аспирантуру Зоологического института. Подал заявление, выдержал конкурс – три человека на место, и был зачислен. Но об аспирантской жизни особый рассказ. Защиту отмечали у Андрея, потом снова Чернигов и снова безработица. И снова год! Написал 70 заявлений в учреждения, где мог бы работать. Получил 70 отказов! Не брали! Даже учителем не брали. Не устраивали анкетные данные. Совсем отчаялся! Но в это время Сом нашел для меня работу – Белое море, биостанция. Конечно, в то время это была не конфетка: далеко в глуши, 50 километров морем от железной дороги, без электричества, зимой холод, полярная ночь, но выбора не было, и я поехал. Приехав в Петрозаводск, остановился у Саши Сегалья, университетского товарища. Он работал в тамошнем Институте биологии и жил в огромной квартире дома, построенного специально для научных работников. Комнаты почему-то с большими колоннами. Их неплохо использовал Сашин дог, поднимая заднюю ногу. Весной я уехал на Белое море. Одет был легко. Мне сказали, что теплую одежду получу там, но «там» этому удивились. В результате сильно простыл, серьезно заболел. Отголоски мучают и сейчас.

Саша изучал оленей. Но из-за вопиющей некомпетентности и безграмотности обкомовских деятелей олени в Карелии исчезли, хотя могли принести большую пользу. Наивный Саша все это изложил в статье, где виновников указал поименно, и отправил в «Правду». Как это ни странно, но статью опубликовали. Обком отделался легким испугом, но Саше этого не простили. Он тотчас лишился работы, и ему отказали в защите докторской диссертации. Пришлось уехать в Магадан, но и там обкомовские чинуши его достали. Пришлось снова искать работу, забираясь все дальше в глушь. Устроился в Туве. Сейчас в Израиле. Диссертацию защитить так и не дали.

На море было совсем не просто, но все же я там смог сделать докторскую.

Попав в аспирантуру Зоологического института, я оказался не только среди специалистов высокой квалификации, но, за небольшим исключением, и среди добрых и

интеллигентных людей, многих из которых давно и хорошо знал. Мне даже не пришлось вживаться в коллектив, и моя работа продвигалась успешно и быстро даже в отсутствие научного руководителя академика А.В. Иванова, который был в экспедиции на Новой Гвинее и приехал лишь к моей защите.

Но кроме института еще было и управление Академии наук, играющее немаловажную роль в судьбе аспиранта. В нем, кроме разных чиновничьих служб, были и две кафедры, которые обязаны посещать аспиранты, а затем и сдавать кандидатские минимумы. Это – кафедры инъяза и философии. Заведующий последней был некий Харчев – типичный «сторожевой пес сталинизма», верный исполнитель заказов «Большого дома». Во всяком случае, обо мне он знал все. То ли по указанию, то ли по собственной инициативе, но было решено меня на экзамене «завалить», не дав защититься. Я об этом догадывался, зубрил, но «бодался теленок с дубом», что я мог предпринять? С тяжелым сердцем пошел на экзамен. Вопросы были не очень трудные. Во время подготовки ответов ко мне подошел ассистент Харчева и тихо прошептал: «Вас завалят». Готовься, не готовься, знай, не знай – все равно, я – обречен. Как на флоте говорят: «Буюк». Это было в июле. В городе жарко и душно. Харчев сидел, расстегнув ворот рубахи, и носовым платком вытирал пот с лица и шеи. Потом попросил ассистента побыть вместо него и вышел попить холодного пива. Только он закрыл дверь, я пошел отвечать. Сдал и, получив отметку, направился к выходу, но в дверях столкнулся с возвращающимся Харчевым. Он очень удивился и попросил у меня экзаменационный лист, где стояла отметка, но я, конечно, не дал. Знал, с кем имею дело. Так важный барьер был взят. Но на этом мои «доброжелатели» не успокоились.

Заместителем директора института по науке был Дмитрий Максимилианович Штейнберг. В высшей степени порядочный и интеллигентный человек. Внук композитора Римского-Корсакова и сын композитора и ректора Ленинградской консерватории. (Как известно, Римский-Корсаков не питал большой любви к еврейскому племени и был наказан: его дочь вышла замуж за еврея.) Он получил прекрасное воспитание, великолепно играл на рояле, владел европейскими языками. Я с ним был давно и хорошо знаком, и он всячески способствовал моей работе, но инфаркт не щадит и хороших людей, а может, их-то и выбирает. Новым заместителем директора стал некий Борхсениус. Личность серая, заурядная, случайно, на гребне волны выдвинувшаяся из обычных агрономов. Ровно через неделю своей деятельности он вызвал меня к себе. Это испортило настроение: «в предчувствие я верю иногда». Он начал «за здоровье», хвалил, но вскоре перешел «за упокой». Был цинично откровенен: я – еврей, и он, при всем уважении ко мне, не может допустить в институте перекося, который сознательно создал Штейнберг, будучи сам евреем (Дмитрий Максимилианович был полукровкой, а евреи в институте составляли всего около 2%). Но, поскольку он меня уважает, то дает 10 дней на поиск работы, после чего издает приказ об отчислении. Я был в отчаянии! Что делать? Все рухнуло. Знакомые сочувственно охали и ахали, но помочь ничем не могли. В то время я был членом месткома, возглавлял культурно-массовый сектор, устраивал вечера отдыха, концерты, крутил фильмы.

Я сидел на последнем для меня заседании месткома. Конечно, не слушал, о чем шла речь. Мне было не до этого. Мысли – одна мрачней другой. Время стремительно приближалось к роковой черте, и я ни чем не мог спасти свое положение. Вдруг врывается оживленный Орик Скарлата (мой бывший однокурсник и парторг института, будущий академик и его директор) и хлопает меня свернутой газетой: «Ты – на коне! – Я ничего не понял. – Надо газеты читать!» Оказалось, что опубликован правительственный указ об усилении роли профсоюзов, где сказано, что член местного комитета не может быть уволен без решения на то месткома. Свое решение местком вынес тут же. И я снова начал организовывать вечера отдыха. После этого Борхсениус при встрече здоровался и был очень любезен, как ничего и не было, но свое решение не забыл. Мне предстояла сдача кандидатского минимума, по немецкому языку, а преподавала его жена. Несмотря на то,

что язык я знал вполне прилично, читал почти без словаря и легко общался, она, задав мне какой-то специфический грамматический вопрос, и не получив исчерпывающего ответа, не допустила к экзамену, чем лишила меня защиты. Снова извечный вопрос: что делать? И я решился на авантюру. Взяв в институте направление на экзамен, пристроился к чужой группе и сдал. После этого моя преподавательница перестала со мной здороваться. Ну, это я, с трудом, но пережил.

Я жил в аспирантском общежитии Академии наук, что на Петрозаводской улице, и был членом комиссии, занимающейся разными насущными общежитейскими делами. Решая всякие бытовые вопросы, приходилось общаться с начальником отдела кадров Ленинградского отделения Академии наук Хмелевской. Она по служебным делам часто приезжала в общагу и, будучи еще совсем нестарой, посещала и наши вечера отдыха. Я с ней неоднократно танцевал, да и она нередко приглашала меня на «белый танец». В общем, наши отношения были вполне нормальными. Однажды я задержался и в институт отправился лишь часов в 11. Выйдя, встретил Хмелевскую, она садилась в машину. Увидев меня, дружелюбно усмехнулась и предложила подвезти. Всю дорогу щебетала и приятно улыбалась. Приехав, я поблагодарил, и пошел к себе в лабораторию. Но Хмелевская не уехала, а пошла в дирекцию, к секретарю: «Когда Кауфман пришел сегодня в институт?» Секретарь, ничего не подозревая, ответила: «Как и всегда в девять». «Как в девять?! Я только что его привезла, а сейчас уже двенадцать. Прошу вынести ему выговор в приказе, за нарушение трудовой дисциплины». Добрейшая секретарша, конечно, приказа не оформила. Где-то к концу работы над диссертацией Хмелевская снова вспомнила обо мне, настаивая на моем отъезде в Пермь, где требовался преподаватель. В принципе, я был согласен, но только после защиты. Она вылила на меня ушат стандартных обвинений в моей неосознанности, в неоправданности потраченных государством на мою учебу средств и тому подобное, но это ей мало помогло – я не поехал. Но после защиты, несмотря на еще оставшийся более чем полугодовой аспирантский срок, с помощью милиции все же выселила из общежития.

За свое более чем семилетнее гулаговское сидение каких только типов не пришлось встретить – от крупных государственных деятелей, министров, генералов, писателей, ученых, шпионов-разведчиков и до самого человеческого дна – воров, бандитов, убийц, аферистов, наркоманов, проституток. С ними пришлось вместе жить и работать, хавать одну баланду, дышать одним воздухом. Некоторые из них по-своему любопытны, и кое о ком интересно вспомнить.

Все отправляющиеся из «Большого дома» на этап, должны встретиться с начальником тюрьмы и расписаться об отсутствии или наличии к нему претензий. Такова формальность.

Начальник, немолодой очень тучный полковник, сидел за большим старинным письменным столом и перелистывал мое дело:

- Сынок, хороший ты малый, – я непонимающе на него взглянул:

- Почему же меня арестовали?

- Эх, молодой, несмышленный. Ты не враг и вины за тобой никакой. Все просто: пленных немцев отпустили, кто будет страну восстанавливать? Вот ты и будешь. Дешево и сердито.

- Но это же рабовладительство!

- А, как хочешь, так и называй.

Я оторопел: - Как вы не боитесь так со мной разговаривать, ведь я же могу и заложить.

- Никому ты ничего не донесешь. Ты наш. На веки. Понял? Раб на всю жизнь!

Несмотря на цинизм, у полковника где-то далеко было запрятано что-то человеческое. Перед уходом он меня напутствовал: «Ты, сынок, в лагере будь тише воды и ниже травы и не давайся на вербовку куму, оперуполномоченному – дольше протянешь». Я был потрясен этой откровенностью в стенах «Большого дома».

Там же в «Большом доме», но в общей камере, где собирался этап, познакомился с неким Дмитрием Быстролетовым, бывшим сотрудником нашей внешней разведки, попросту – шпионом. Он работал в Экваториальной Африке и в Центральной Европе. Человек удивительный. По профессии врач, прекрасный художник, полиглот. Слушать его – одно удовольствие: прекрасная литературная речь, красивые округлые фразы, удивительная эрудиция. Еще в 20-30-х годах, выдав себя за купца, прошел всю Центральную Африку, снимая по заданию Центра топографические карты. Appetit у Центра был нешуточный. Позже, после освобождения, жизнь негритянских племен того времени он описал в интересной книге «Старая Африка». В Европе участвовал в убийстве Седова – сына Троцкого и в других неблагоприятных делах. Много рассказывал о буднях шпионской работы, о ее «морали», о подлогах, обманах, воровстве, убийствах, провокациях, вербовках – в общем, обо всем, что составляет шпионское ремесло. Все это изложено в другой его книге, посмертно изданной в серии «Роман-газета». К тому времени, когда мы встретились, Быстролетов уже отсидел 10 лет, и ему «намотали» новый срок. Его жена – венгерская коммунистка и тоже шпионка умерла в застенках МГБ.

В Тайшетлаге со мной в одном бараке сидел Годорский, генерал- лейтенант, бывший командующий военно-воздушными силами, личный друг Ленина, автор известной в свое время книги «С пером и винтовкой», сидевший с 1937 г. Будучи уже старым и больным, в лесу не работал, но выполнял функции уборщика: убирал барак, топил печи, уносил в сушилку валенки, вечером заносил и утром выносил парашу – бочку с нечистотами. Несмотря на все превратности судьбы, остался нестигаемым коммунистом. Все, что с ним произошло, считал кознями врагов СССР. Его жена Черняк, впрочем, как и Розанель, жена Луначарского – черниговские еврейки и моя мать их знала. После смерти «светоча всего человечества» Годорского реабилитировали, но он, проявив принципиальность, из лагеря не выходил, пока ему не сшили и не доставили генеральскую форму. Все лагерное начальство выстроилось, и начальник лагеря старший лейтенант Слипченко отдал честь генерал-лейтенанту и подал машину. До Москвы его сопровождал начальник режима, в свое время немало поиздевавшийся над генералом.

Убежденным коммунистом остался и литератор Александр Исбах, писавший в основном о буднях армии, сотрудничавший в главной армейской газете «Красная звезда» и в других центральных изданиях. Писатель средней руки, типичный ширпотреб того времени. И вовсе он не был ни Александром, ни Исбахом. Это его псевдоним. В действительности он – Исаак Абрамович Бахрах. Несмотря на то, что он старался от еврейства держаться на приличном расстоянии, его все же обвинили в еврейском национализме и посадили. Ай-ай, какая несправедливость! Когда нас выводили на работу и передавали конвою, его начальник, старший сержант Мажора, пересчитывая, каждого лупил по спине палкой: «Это – молодому жида», – т.е. мне, «а это – старому жида», – т.е. Исбаху. Исбах был вне себя от возмущения: «Как так! Он окончил советскую школу, учил историю партии, армия его воспитывала, проходил политзанятия и на тебе: «Жид! Куда их политрук смотрит?!» «Туда и смотрит», – ответил я.

Всю длинную восьмикилометровую дорогу в лес Исбах скрашивал разными рассказами, которых знал множество. Рассказывал о знаменитом в писательских кругах Моисее Маргулисе, парикмахере Дома писателей, известного своими хохмами и панибратством со многими видными литераторами. Когда к нему прибежал какой-нибудь начинающий, но уже зараженный величием писателишка и восклицал: «Дорогой, побрей, у меня такая борода, работать не могу», Маргулис спокойно замечал: «У Льва Толстого была вот такая борода, но он все же как-то написал «Войну и мир». Маргулис воевал: «Как Вы думаете, что на войне самое важное? Пушки – нет, танки – нет, самолеты – нет. На войне самое важное – выжить». На калитке дачи писателя Кочетова, воинственного сталиниста, – рассказывал Исбах – была прибита табличка: «Во дворе злая собака», а кто-то приписал: «и беспринципная». Больше всего Исбах возмущался молчанием Константина Симонова и Александра Фадеева, с которыми дружил семьями. Несмотря на

многочисленные к ним просьбы (а Фадеев был не только секретарем Союза писателей, но и членом ЦК), они и пальцем не пошевелили в деле его освобождения. Сейчас их молчание понятно. Освобождение застало Исбах рабочим на кирпичном заводе, но он отказался уезжать, пока его производственная норма не будет перевыполнена. Он должен уехать только передовиком социалистического труда. Думается, что Исбах легонько «постукивал». Во всяком случае, расправы над стукачами переживал крайне тяжело. После освобождения он был у меня в гостях. Мы сидели и, потягивая вино, вспоминали. Вспомнили и начальника лагеря старшего лейтенанта Слипенко, который требовал, чтобы его называли капитаном. Как он забрал из лагерной кухни свежее мясо, заменив своим испорченным с крупными белыми червями и тяжелым запахом. А лепило, начальница больнички лейтенант Мордашко дала марганцовку, чтобы его промыть. Китайцы, работавшие в бане, рассказывали, что она не только заставляла стирать ее белье, но и требовала, чтобы они натирали ей спину, когда она мылась в бане. Заключенных за людей не принимала и не считала нужным их стесняться. По поводу мяса я тогда заметил, что бунт на «Потемкине» начался именно из-за гнилого мяса. Это тотчас дошло до кума, молодого лейтенанта Борисова, с явно семитскими чертами лица. Разговор был кратким: «Что случись, им – ничего, тебя – расстреляют. Иди и болтай поменьше». Исбах подарил мне небольшой сборник его рассказов. Вскоре он умер.

Интересным был и сидевший уже второй срок, т.е. второе десятилетие, буддийский монах монгол Дондерон. Он имел два высших образования – окончил физфак и восточный факультет Ленинградского университета, прекрасно знал тибетский язык, не только современный, но и древний. Дондерон мечтал: если мы когда-нибудь освободимся, то обязательно встретимся. Он знает, где имеются древнейшие тибетские рукописи с описаниями животных, растений и строения человеческого тела. Он их переведет на русский, и мы напишем книгу. Но нас развели по разным лагерям. Позже в Ленинграде Бадмаев (внук личного врача семьи Николая II, расстрелянного вместе с царской семьей) рассказал, что Дондерону намотали третий срок, и он умер в лагере.

Издательства, побои расстрелы, были обычным средством устрашения и запугивания, превращения человека в безропотного животного, раба. Когда ко мне на свидание приезжала жена, убили двух заключенных, так, ни за что, и трупы положили по обе стороны лагерных ворот, чтобы остальные, возвращаясь из леса, прошли мимо и видели. Стрелявший солдат получал 2 недели отпуска.

Но с особенной жестокостью лагерное начальство относилось к сектантам-субботникам: «Как, русский и перешел в жидовскую веру!» Что только с ними не делали по субботам, когда они отказывались идти на работу. Изошренности могла позавидовать инквизиция. Их били, травили собаками, привязав за ноги, волокли по лагерю, крестили, опуская в декабре в противопожарный котлован с водой, заставляли мокрыми сидеть на холоде, но ничего не помогало. В следующую субботу все повторялось вновь, они снова на работу не выходили.

В Омлаге, на стройке огромного Омского нефтеперерабатывающего завода, на какое-то время удалось устроиться лаборантом в лагерную больницу. Здесь я познакомился с Львом Гумилевым, тянувшим уже третий срок. Он был, несомненно, незаурядной личностью: грамотный, эрудированный, мыслящий, хотя и далеко не простой в общении. Несмотря на нескрываемую юдофобию, проводил со мной многие вечера, прекрасно зная, кто я. Конечно, со мной ему было интересней, чем с полицаями или блатняками. Все-таки мы оба питомцы Ленинградского университета, интеллигенты. Кроме того, я, работая в больнице, всегда мог дать ему липовую справку, по которой освобождали от работы, и такие справки я давал и довольно часто, что тоже немаловажно в той жизни. Лева на мне апробировал отдельные элементы нарождающейся теории пассионарности. Мне казалось, что в нем всегда боролись два таланта: ученого и беллетриста, и часто в его научных рассуждениях сказывался именно писатель. С фактическим материалом он обращался довольно свободно, подменяя его собственными

представлениями. Меня, конечно, интересовали и его знаменитые родители, но при одном лишь упоминании о них, он мрачнел и наглухо замыкался. В чем дело, я так и не понял. После освобождения к своей матери Анне Ахматовой Лева не поехал. Жил в семье писателя Ардова.

На одной из пересылок встретил Теодора Шумовского, арабиста и однодельца Левы. Он тоже тянул третий срок. Личность мрачная, нелюдимая. Узнав, что я – еврей, вообще отвернулся. После освобождения он все же успел, хотя и с большими муками, защитить докторскую диссертацию и написать интересные «Записки арабиста».

К сожалению, в больнице долго продержаться не пришлось – меня перевели в другой лагерь, там же в Омске, но облегченного режима. Работали на земляных работах. Рядом трудились и «девочки» из женского лагеря, что вносило оживление в обе группы. Многие успели перезнакомиться и писали друг другу ксивы – письма. Так как грамотеи они были не шибкие, то эту эпистолярную работу поручали мне. Мои письма «дамам», как они выражались, «доставали до живого», и «кавалеры», довольные моим творчеством, часто освобождали меня от лопаты и тачки. Ко мне даже была очередь, и я часами сочинял письма, «достающие до живого».

Конвой и здесь состоял из солдат срочной службы. Молодые ребята, все время соприкасающиеся с блатным миром, невольно перенимали все его особенности. Их лексика во многом состояла из фени – блатного арго, они подражали блатным замашкам, приносили в лагерь водку, наркотики, передавали «дамам» ксивы, устраивали свидания. «Дамы» не оставались в долгу. Иногда доходило до крайностей: конвоир брал какого-нибудь щипача, вора-карманника, шел с ним на рынок, где тот «работал», потом на эти деньги покупали водку и устраивали общую попойку. После такого веселья мертвецки пьяных конвоиров под руки волокли в лагерь, а мне иногда приходилось тащить их автоматы. Если бы кто-нибудь такое рассказал – не поверил бы, но я сам их тащил.

Однако здесь долго не задержался, отправили на Северный Урал, снова в спецлагерь, снова на лесоповал. Туда ко мне приезжала на свидание жена, совершив этим беспримерный подвиг. Официально она мне женой не была. После моего ареста ее вызвали в Управление МГБ и предложили, как говорят, добровольно-принудительно со мной развестись. В противном случае ее ждет не только безработица, но и ссылка. Перепуганная, она расторгла наш брак, но упорно продолжала поддерживать со мной все возможные контакты, присылала дозволенные два письма в год, посылки, приезжала на свидание на далекий и дикий Северный Урал, добираясь не только поездом, но узкоколейкой, перевозившей лес, и машинами-лесовозами. Рисковала не только собственным благополучием, но и тем, что свидания могли и не разрешить – ведь мы были в разводе, но лагерное начальство этого не заметило. К Исбаху в Тайшетлаг тоже приезжала жена, но видел он ее всего несколько минут, да и то через глазок в дверях вахты. Издевательство над людьми тюремщикам доставляло удовольствие.

Когда жена была у меня, в лесу вспыхнул пожар. Зрелище красивое, но страшное. Беснующаяся всепожирающая стена огня. Огромные языки пламени металась от одного дерева к другому, жадно слизывая листья и хвою. Горячий воздух обжигающим упругим крылом бил по лицу. Раздуваемый ветром, огонь быстро приближался к нашим баракам. Построенные из сухих досок, они могли вспыхнуть каждую минуту. Если лагерь загорится, чтобы заключенные не разбежались, их, как и всегда в таких случаях, расстреливали. Всех. Но я был бесконвойным, и если б такое случилось, взял бы жену на спину и переплыл на остров, что на недалеко расположенном озере, однако изменившийся ветер спас положение.

В этом людском потоке, во все стороны пронизывающем «Архипелаг Гулаг», встречались удивительные судьбы. Так, один майор, имевший орден Боевого Красного Знамени, попал в плен. Чтобы в нем не распознали еврея, вступил во власовскую армию, где маскироваться легче. Там получил Железный крест. Перебежал к американцам и там

получил орден. После войны чекисты его все же выудили, но и здесь он просидел недолго и вышел по амнистии. Всем угодил и всех обошел.

Яша Уманский по той же причине попал во власовскую, но в диверсионно-разведовательную школу. После того, как немцы его перебросили через линию фронта, о чем он мечтал, сразу пришел к командованию и во всем признался. Срок получил детский – всего 10 лет.

Яшка Клецкин, малолетка, самый молодой в лагере, почти мальчишка. Когда в его родной Луцк пришли немцы, всю семью расстреляли. Яшка где-то спрятался. Его нашел сосед, и сам решил свершить «правое» дело. Но смотреть в глаза соседскому мальчишке, все же, не смог и стрелял в затылок. Рука, еще не привычная к такой работе, дрогнула, пуля, пробив щеку, вышла через рот. Придя в себя, Яшка побрел в лес, по дороге зашел в какую-то деревенскую хату. Здесь ему заменили окровавленную одежду, дали кусок хлеба и выдворили. Рана нарвала. Куском стекла прорезав нарыв, выпустил гной. Стало легче. Днем прятался в лесу под корягой, а ночью воровал по садам и огородам. К осени пристал к какому-то партизанскому отряду. Узнав в нем еврея, прогнали. Натолкнулся на еврейский отряд и там был, пока тот не влился в армейскую часть. Здесь им заинтересовались чекисты. Как и каким образом еврей, будучи в оккупации, остался жив? Заподозрили в сотрудничестве с немцами, но так как доказательств не было, а оправдывать они не умеют, то Яшке дали всего 5 лет – срок редкий в то время. Однажды его за что-то посадили в карцер, почти не давали еды. Вечером, придя с работы, я взял свою пайку хлеба и, проникнув в карцер, палочкой стал проталкивать крошки сквозь щель в дверях. Но меня накрыли и раздетого втолкнули к Яшке. Карцер, конечно, не отапливался, а был еще март. Эту ночь я помню.

Своеобразные типы встречались и в блатной среде. Так, Сашка Колоднер. Мастер спорта, член сборной СССР по прыжкам на лыжах и один из немногих конструкторов трамплинов. Вполне интеллигентная личность, из благополучной семьи. Не пил, не курил, не матерился, писал неплохие стихи, хорошо рисовал. Отец – крупный деятель внешней разведки, сестра – переводчица. На соревнованиях в Норвегии Сашка неудачно прыгнул. Разбился. Больше прыгать не смог. Ушла слава, деньги, друзья, женщины. Другой профессии не было. Как-то, познакомившись с одним инженером, сконструировали портативный аппарат для вскрытия сейфов. Работали аккуратно. Снова появилась безбедная жизнь. Но, как говорят, жадность фраера сгубила – их занесло. Выдалась редкая возможность ограбить жену крупного иностранного дипломата, и они ею воспользовались. Она осталась в чем была. Произошел международный скандал. Вмешалось МГБ. Их вычислили. В лагере Сашка, хотя с блатными близко и не якшался, но пользовался авторитетом. Как-то один полицай ему намекнул на его не совсем русский нос. Сашка не стал спорить, но кое-кому из своего «профсоюза» шепнул. Вечером несколько мальчиков так внушили полицаяу принципы интернационализма, что тот несколько дней не мог подняться с нар. Я запомнил любимую Сашкину песенку: «Мы разных Гейзенбергов не читаем, мы этих чуваков не понимаем. Раз читаем, два читаем – ничего не понимаем, ничего в дугу не понимаем... » У меня сохранилось Сашкино фото и его несколько совсем неплохих стихов.

Другая нетрафаретная личность – Семен Крутоног (и по сей день не знаю, это фамилия или кликуха, блатное прозвище). Профессиональный вор, вор в законе. Рот полон фикс – золотых зубов, на работу, конечно, не ходил, не пил, не курил, не матерился, хороший компанейский мужик, но лагерное блаточье даже его тени боялось, всячески стараясь шестерить, угодить. Война Сему застала, разумеется, в лагере. Взяли в армию. Воевал, перешел к американцам. После войны подался в еще несуществующий Израиль. Работал в кибуце, охранял от арабов. Чтобы не потерять квалификацию решил «размяться» – поехал в Италию. Отвел душу, но, не зная ни языка, ни тамошних порядков, завалился и был передан родному государству. В своем деле был мастером высочайшего класса. Изредка в лагере работал ларек, продавали курево и всякую копеечную мелочь.

Его тщательно охраняли вертухаи – надзиратели, но Семен все же умудрился умыкнуть всю выручку. Пожалев плачущую продавщицу, отдал ей все до копейки. Ему ничего не надо, а если что-нибудь и потребуется – надзиратели сами принесут – они тоже ему шестерили.

Но самой колоритной фигурой, несомненно, был Иосиф Бергер. Бывший секретарь компартии Палестины и глава ближневосточного отдела Коминтерна, заодно он выполнял и некоторые деликатные функции нашей внешней разведки. Родом из Польши. Закончил философские факультеты Ягеллонского университета в Кракове и университета Сорбонны в Париже. Человек удивительной гуманитарной эрудиции, полиглот, свободно владевший почти всеми европейскими и некоторыми восточными языками. Мог часами в самой доступной форме рассказывать о философских воззрениях, скажем, Фихте, Ницше, Шопенгауэра или Спинозы, о различных эпизодах еврейской истории. Я слушал его, забыв обо всем. Еще будучи молодым, он увлекся левым сионизмом и уехал в Палестину, участвовал в создании первых кибуцев. Понятно, что Сталин такую личность не мог оставить без внимания. Когда я с ним встретился, он сидел уже 22-й год. Бергер был небольшого роста, очень худой, в очках с металлической оправой и с неизменной фуражкой на голове. С Львом Гесельзоном, бывшим директором Вильнюсской еврейской гимназии, разменявшим лишь второй десяток, он разговаривал только на иврите. Это им обоим доставляло удовольствие. Как-то Бергера вызвали на этап. В лагерь должна была прибыть группа воров, враждовавшая с ворами, сидевшими в этом лагере (так делалось специально, чтобы уменьшить возможность сговоров, массовых побегов и пр.) Это обещало страшную карусель – поножовщину. Один из воров, чтобы избежать резни, попросил Бергера остаться в лагере, чтобы самому вместо него уйти на этап. Так, как Бергеру воровские разборки ничем не угрожали, он согласился, а тот, выдав себя за Бергера, ушел. Такое иногда практиковалось. Но этап оказался особенным. Все отобранные были отведены на несколько километров от лагеря и расстреляны. Волею случая Бергер остался жить. Из ортодоксального коммуниста-атеиста он превратился в глубоко верующего человека. Ходил только в головном уборе, несколько раз на день молился, отказался от лагерной трэфной пищи. Питался в основном хлебом, достав где-нибудь какие-нибудь продукты, сам готовил в консервной банке. А в пасху, понятно, и хлеба не ел. Его в лагере уважали. Если кто-нибудь доставал съестное, угощали. Даже надзиратели и сам начальник лагеря иногда подбрасывали что-нибудь пожевать. Худ был страшно – кожа да кости. Ко мне относился с отеческой любовью. Когда я, уставший за целый день, и согрешивший, засыпал возле него, он что-нибудь подкладывал под мою голову и укрывал фуфайкой. После долгожданной смерти «Корифея Корифеевича», Иосифа Бергера освободили, и он через Польшу уехал в Израиль. Там, читал лекции в Бар-Иланском университете, успел написать несколько книг о своих мытарствах по кругам сталинского ада. Возможно, в какой-нибудь из них упоминается и обо мне.

Конечно, в очень коротком рассказе невозможно упомянуть десятки и сотни лиц и событий, с которыми меня столкнула такая, далеко не ординарная, судьба. Я не смог втиснуть рассказ о том, как брат известного диктора Левитана, будучи солдатом Латышской дивизии, получил орден Красного Знамени; об Алексее Шорнике – личном шофере Дж. Маршалла, именем которого был назван план американской помощи послевоенной Европе. Его чекисты выудили в Шанхае; о Шота Джиджадзе – сыне наркома здравоохранения Грузии и самоотверженном борце за ее самостоятельность; о Пизове – философе и каббалисте; Инжире – главном бухгалтере Государственного банка СССР, сидевшего с 1937 года; о дяде знаменитого скрипача Павла Когана; о жене начальника Политотдела Белорусского военного округа Писменного; о том, как на тайшетской пересылке молоденькая учительница из Западной Украины, стесняясь и плача, предлагала себя: «Візьми мене. Я – чиста, я ще дівка». Кто-то ей сказал, что женщин с детьми и беременных будут амнистировать. Ребенка она воспитает. Я с ней говорил на украинском языке, и она во мне не узнала еврея. Но, когда я в этом признался

и поинтересовался, как к этому отнесется будущее чадо, ответ был категоричным: «Я ему об этом не расскажу»; о том, как жестоко расправлялись со стукачами; о японском полковнике Сато, который во время правительственной встречи со Сталиным, подарил ему старинный самурайский меч; о кудеснике Вольфе Мессинге, а также о жизни на Белом море, о том, как мне удалось спасти Беломорскую станцию от очередных глупостей наших реформ, о многих выдающихся ученых, с которыми посчастливилось общаться и о многом, многом другом. Наконец, я ничего не успел рассказать о моих родных и близких. Очень достойных людях. О них следует писать отдельно.

Из серии
«БИБЛИОТЕЧКА ГАЗЕТЫ «ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК»
вышли в свет:

Бен Гирш. Азбука иудаизма
Дмитрий Цвибель. Время любить
Из еврейской поэзии. Сост. **Иосиф Гин**
Нохим-Залманович. Еврейские пословицы
Давид Генделев. Из истории еврейской
общины Петрозаводска
Имена и судьбы. Сост. **Юлия Генделева**
Залман Кауфман. «Невыдуманные рассказы»
Евреи Карелии. Сост. М.Бравый, И.Шегельман, Я.Бравый

Редакторы:
Давид Генделев, Дмитрий Цвибель